

[Polaris]

Алексей  
БУДИЩЕВ



# БРЕД ЗЕРКАЛ

Фантастические рассказы

**POLARIS**



**ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА**

**CCLXII**



**Salamandra P.V.V.**

**Алексей  
БУДИЩЕВ**

# **БРЕД ЗЕРКАЛ**

Фантастические  
рассказы

Salamandra P.V.V.

## **Будищев А. Н.**

Бред зеркал: Фантастические рассказы. Сост. и подг. текста А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 188 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCLXII).

В книге впервые собраны фантастические рассказы известного в 1890-1910-х гг., но ныне порядком забытого поэта и прозаика А. Н. Будищева (1867-1916). Сохранившаяся с юности романтическая тяга к «таинственному» и «странному», естественнoнаучные мотивы в сочетании с религиозным мистицизмом и вниманием к пограничным состояниям души — все это характерно для фантастических произведений писателя, которого часто называют продолжателем традиций Ф. Достоевского.

# БРЕД ЗЕРКАЛ

Фантастические  
рассказы

## БОЛОТО

Мы сидели на высоком холме после охоты на куропаток. Мой приятель Сорокин лежал на животе и курил папиросу. Я сидел, прислонившись спиной к пеньку, а наша собака, серый с кофейными пятнами легаш «Суар», спал возле на боку. Порой он лениво приподнимал голову, выворачивал свою серую, на красной подкладке губу и косился на нас, показывая красные белки. Я смотрел на окрестность.

Прямо под нами, в зеленых лугах, вся залитая лучами заходящего солнца, сверкала серебряная лента узкой речонки. Речонка точно баловалась и наделала в лугах такие выкрутасы и загогулилки, каких не встретишь даже на воротнике малороссийской рубахи. Порой она, как бы спасаясь от погони, бросалась внезапно в сторону, описывала крутую дугу и вся зарывалась в кудрявые поросли лозняка. Затем она делала хитрую петлю, осторожно кралась, незримая, под отвесным глинистым берегом и вдруг снова выбегала в луга, прямая, как солнечный луч, вся сверкающая, смеющаяся и лукавая. Белые чайки летали над речкой и порой падали вниз на добычу, как белые хлопья снега. Налево луга замыкались холмом, над которым сверкал золотой крест сельской церкви. Направо — весь северо-западный угол был заслонен лесом темным, угрюмым и полным тайны.

— Это — Лосёв куст, — сказал мой приятель, заметив, что я внимательно рассматриваю темную стену леса, — это болото, занимающее не менее шестидесяти десятин, заросшее громадной ольхой, непроходимая топь, населенная комарами, способными выпить в одну ночь всю кровь человека. Это непролазные дебри с мшистыми кочками, с тяжелым запахом гниющих деревьев, с жирными пятнами на воде, с камышами выше человеческого роста, которые режут ваши руки, как бритва. У нас это единственное место, где еще выводятся дикие гуси. Но, Боже мой, как трудно до них добираться! Ты знаешь мою страсть к охоте, однако я

редко посещаю это болото. Я боюсь его, оно кажется мне чудовищем неопрятным и прожорливым, которое пожирает все, что попадает в его пасть. Жрать — это, кажется, единственная функция, на которую оно способно. По крайней мере, его камыши удивительно упитаны, головастики, плавающие в его жирной воде, лоснятся от сала, а цветы, лежащие на поверхности, мясисты и великолепно выкормлены. Кажется, они кушают ночных бабочек, потому что я часто находил между их желтыми лепестками обмусоленные трупы этих беззащитных созданий. Вообще, это болото не придерживается вегетарианских взглядов. Семь лет тому назад оно скушало илпатьевского бычка, прелестного голландца, которого Илпатьев купил на выставке за триста рублей. Бычок запутался и болото заманило его в свои топи, засосало и скушало. Может быть, к животной пище его приучили крестьяне деревни Комаровки. Комаровка лежит по то сторону Лосёва куста, на юго-запад от него. Это — маленькая деревушка в тридцать дворов. Ее жители занимаются земледелием и конокрадством, а некогда, при крепостном праве, они занимались самым настоящим разбоем. Они грабили и душили проезжих краснорядцев и топили их трупы в Лосёвом кусту. В этом болоте, как говорят, погребено немало душ. Немудрено, что крестьяне боятся его. Они знают его прошлое; кроме того, они видят оригинальные формы его растительности, видят его своеобразную жизнь и, вероятно считают это болото способным создать свою высшую форму, своего человека, — русалку, царицу болотных вод, этот прожорливый цветок, питающийся человеческой кровью. И, знаешь ли, я сам едва не поверил этому однажды. Право, я даже не сомневался в этом в течение нескольких часов. Сейчас я расскажу тебе, как это произошло. Эта ночь будет самой памятной в моей жизни.

Пять лет тому назад, как-то в июньскую ночь, я отправился в Лосёв куст с комаровским парнем Никитой, охотником до мозга костей. Он сообщил мне, что нашел барсучьи следы. Эти неуклюжие животные ежедневно на заре сходят с горы, из березового леса, к Лосёву кусту и пьют болотную воду. Может быть, их привлекают также корни бо-

лотных растений, мясистые, сочные и вкусные. Никита, по крайней мере, был убежден в этом; и вот мы отправились, чтобы просидеть ночь в опушке Лосёва куста на кочке вплоть до зари, когда барсук придет пить болотную воду и лакомиться кореньями. Мы обошли Лосёв куст засветло; нам хотелось подойти к нему с севера, от горы, с которой сходит барсук, и переночевать на ближайшей к опушке кочке. На дороге нам попались двое из илпатьевских объездчиков; они ехали на взмыленных лошадях и оживленно о чем-то беседовали.

— Звери, а не люди, — заметил Никита, когда объездчики исчезли за поворотом, — не позволяют в лесу собирать ягоды, загоняли наших девок просто беда как! Не дают поработать на ягодах и двутривенного!

Никита с негодованием посмотрел вслед объездчикам и замолчал. Больше мы не встречали на своем пути ни души. Мы обошли Лосёв куст, прошли болотом несколько сажень и сели на кочке. Было совершенно темно. Луна еще не вставала. Мы сидели на кочке не больше сажени в поперечнике, прислонившись спиной к стволам ольх, держали на коленях наши ружья и курили папиросы, спасаясь дымом от комаров. От болота веяло сыростью. Оно лежало, как объевшееся чудовище, и как будто тяжело дышало и сопело. Порой нам казалось даже, что оно что-то жует впросонках; по крайней мере, мы ясно слышали звуки, как бы происходившие от чавканья. Камыш шевелился и дрожал. Жирные пятна плавали на воде, блестевшей «окнами» тут и там между мшистыми кочками и камышами. Порою мы слышали какое-то сытое, торжествующее похрюкивание и бурчание воды, как бы в желудке опившейся лошади. Комары лезли нам в глаза, и Никита, понюхав воздух и узнав, что ветер тянет с горы, решил зажечь костер, хотя бы самый маленький, чтобы дымом прогнать комаров. Барсук не услышит дыма за ветром и придет в урочный час пить воду. Никита высек огонь, приятный запах горящего трута защекотал мне ноздри и вскоре маленький костер запылал на нашей кочке, прогоняя комаров, которых относил дымом, как ветром. Огонь мигал на воде, освещая черные трупы гнию-

щих деревьев, зеленую стену ближнего камыша и загорелое лицо Никиты. Я смотрел на него. Это был парень лет 25-ти, белокурый и худощавый. Поверх его посконной рубахи, на нем был надет рваный полушубок с короткой талией, сшитый из черных и белых, но пожелтевших от времени овчин. На его ногах были обуты поршни из мягкой кожи, стянутые, как кисет, немного повыше щиколоток. Его холщовые штаны были продраны и огонь костра освещал обнаженные колени, морщинистые, загрубевшие и лупившиеся. Никита смотрел на огонь и сидел, прислонившись к стволу ольхи, обхватив руками ноги пониже колен. Свет костра освещал его губы и кончик носа, между тем как верхняя часть его лица была в тени. Он был так оборван и грязен, что мне его стало жаль от души. Я разговорился с ним. Почему он не занимается земледелием, а бродяжничает по лесам и болотам, в то время как охотничий промысел мало дает заработка в нашей стороне? Лучше бы ему наняться в работники. У него двое детей и жена и, вероятно, все они ужасно бедствуют. Недаром на него смотрят в деревне, как на шатуна и лодыря. Семьянину стыдно ничего не делать. Охотой он мог бы заниматься по праздникам для развлечения. Никита долго отмалчивался, но, наконец, сказал мне, что ему никак нельзя не бродить по лесу. Это для него совершенно невозможно. Он запьет с тоски, если будет сидеть дома. Потихоньку-полегоньку он передал мне всю свою историю. Он женат пять лет, но у него не лежит к жене сердце. Больше того, он ею брезгует, хотя ему порой бывает жалко ее. Каждый раз он приневоливает себя насильно приласкать эту женщину. Что делать... Сердце любить не заставишь! У него была невеста Василиса, которую он любил, да та пропала без вести, вероятно, утонула, и родители заставили его жениться на немилой. Как же он может жить с нею по-людски? Он очень любил Василису. Осенью должна была состояться их свадьба и оба они, и жених и невеста, зарабатывали деньги. Он ездил ямщиком, а она в будни ходила работать поденно к Илпатьеву, а в праздник собирала ягоды и продавала их. И вот, когда на мшистых кочках болота поспела ежевика, она по-

шла в Лосёв куст и не возвращалась оттуда более. Вероятно, она утонула. Как же он может любить теперешнюю жену? Я слушал рассказ Никиты, смотрел на болото и думал: «Это чудовище кушает даже молодых девушек!»

Я продолжал смотреть на «окна» воды, блестящие между мшистыми кочками.

Болото всегда производит на меня впечатление какой-то лаборатории, изготавливающей живых существ. Ни луга, ни поля, ни лес не дают такого впечатления, потому что мы видим там формы более усовершенствованные и вполне законченные. А здесь эти первобытные водоросли, эти слизни, мириады плавающих в воде личинок и дышащие жабрами головастики — говорят о постоянной работе, о неустанной энергии, производящей виды, постепенно прогрессирующие в их формах. Вот почему, как мне кажется, крестьяне населяют всевозможной нечистью преимущественно болото.

Я задумчиво смотрел на поверхность стоячих вод.

Костер на нашей кочке потух, но мы не хотели более поддерживать огня. От болота веяло сыростью. Оно по-прежнему сопело и чавкало. С его поверхности поднимался пар, как с боков вспотевшего животного. Вокруг что-то булькало, бурчало, переливалось, лопалось, ломалось и хлопало, как в какой-то сложной машине. Казалось, болото работало как алхимик, колдовало, ворожило, шептало заклинания и перегоняло по ретортам таинственные жидкости. Порой до нас долетали какие-то стоны, тихие и жалобные. И тогда Никита робел и спрашивал меня, что это такое? Но что я мог ему ответить?.. Разве я знаю больше его? Может быть, это кричали уродливые птицы, рожденные творческой силой болота.

Месяц встал на востоке и медленно поднимался над Лосёвым кустом. Казалось, он хотел заглянуть в самую глубину стоячих вод, чтобы подсмотреть их тайну.

Я забывался, прислоняясь спиной к стволу ольхи и чувствуя легкий озноб от сырости. Я думал о Никите и об этой девушке, погибшей из-за того, чтоб заработать двугривенный. Затем мне грезились какие-то птицы и какие-то жи-

вотные, странные и чудовищные, населяющие таинственные дебри болота.

Я внезапно проснулся и открыл глаза.

Никита стоял надо мной, бледный и перепуганный. Он толкал меня в плечо и пристально глядел в даль. Я стал рядом с ним на колени, хватая рукой двустволку.

— Идет, — прошептал он, — ишь как водой бултыхает!

Он кивнул подбородком перед собой. Его губы вздрагивали. Он стоял спиной к горе, но я понял, что он говорит не о барсуке.

— Кто идет? — спросил я, чувствуя приступ неприятного озноба и придвигаясь на коленях к ногам Никиты.

Он по-прежнему смотрел вдаль. Я заметил, что ружье в его руках слегка вздрагивало.

— Кто идет? — переспросил я шепотом.

— Нечисть, с нами крестная сила! Нечисть болотная. Кто же пойдет по болоту в полночь? Ишь, как водой бултыхает!

Я прислушался. По болоту действительно кто-то шел, бултыхая водой. Плеск воды приближался; очевидно, идущий направлялся на нас.

Месяц высоко стоял над болотом, но густые заросли и туман не позволяли нам хорошо различать предметы; на расстоянии двадцати сажень мы уже ничего не видели. Мы только слышали бултыханье воды и ничего больше.

— Не лось ли? — спросил я Никиту.

— Нет, — покачал тот головой и вздохнул, как бы в изнеможении, — не лось; слышишь, две ноги. Лось ноздрями на воду дует, фырчит, воздух нюхает. Это не лось.

— Разве медведь? — прошептал я.

Никита долго молчал, пронизывая взором серебряную ткань тумана. Я видел, как вздрагивали его обнаженные колени, заглубившиеся в скитаньях по болотам. Месяц спрятался в тучку, бултыханье на минуту смолкло, а Никита все еще глядел и слушал, вздрагивая всем телом.

— Нет, не медведь, — наконец прошептал он, — слышь, на кочку лезет, рукой за ветку хватается.

Я прислушался, и, действительно, услышал, как где-то недалеко хрустнула сломанная ветка. По моей спине прошло что-то холодное и скользкое, неприятное до отвращения. И в эту минуту мы услышали стон, жалобный человеческий стон. После этого все на минуту смолкло. Только слышно было, как бурчала вода в желудке гигантского чудовища. Болото продолжало колдовать и производить жизни. С его поверхности поднимался пар, точно оно изнемогало от усилий произвести что-то для него невыразимо трудное и почти невозможное. Мне казалось, что упитанный камыш и жирная вода болота слегка вздрагивали от усилий. По всей поверхности стоячих вод как будто бежал трепет мучений и желаний. Даже кочка, на которой мы сидели, слегка шевелилась под нами. Казалось, болото напрягало все свои творческие способности, чтоб создать свою высшую форму, душу всего в нем существующего. Мы продолжали слушать. Стон повторился.

— Это Василиса! — прошептал Никита, трясаясь от ужаса. — Пропали мы с тобой...

Он хотел еще что-то сказать и не мог. Я взглянул на него; его лицо было искажено до неузнаваемости. Его ноги дрожали, точно он пытался привстать на цыпочки. Я хотел говорить и тоже не мог. Так прошло несколько минут.

Между тем, месяц выглянул из-за тучи и мы увидели саженьях в пятнадцати от нас женщину. Она лежала животом на мшистой кочке и хваталась руками за колючие ветки ежевики. Казалось, она пыталась вылезть на кочку из воды, хотя это стоило ей громадных усилий. Я видел ее бледное, как снег, лицо, темные брови и тонкие пальцы, судорожно хватавшиеся за колючие ветки. Она тяжело дышала и изредка выпускала стоны. До пояса она была погружена в воду.

— Русалка... — еле выговорил Никита.

Мне казалось, что волосы приподнимались на его голове, а ружье ходило ходуном в его руках.

Между тем, женщина барахталась в воде, пытаясь вылезти на кочку. Я смотрел на ее усилия. Мой парализованный ужасом мозг плохо работал. Кажется, я думал или, вер-

нее, не думал, а грезил странными образами. Образы эти иллюстрировали приблизительно следующее:

«Что, если болото, в минуты наибольшего напряжения всех своих творческих сил, способно создать нечто высшее, свой венец творения? Может быть, у него недостаточно сил, чтобы облечь свое излюбленное создание в долговечные формы, и оно появляется только на мгновение, как призрак, в минуты наивысшего напряжения его энергии, вспыхивая, как блуждающий огонек и тотчас же угасая».

Я инстинктивно пригнулся к земле, так как над моей головой грохнул выстрел. Это спустил курок обезумевший от ужаса Никита, и болото ответило на выстрел целым залпом.

Вслед за тем мы услышали дикий, иступленный крик. Что-то шлепнулось в воду с кочки, забултыхало по болоту и зашуршало камышом, поспешно уходя от нас.

Затем все смолкло.

Мы остались на кочке одни, в облаке порохового дыма, потерявшие от страха волю и разум. Мы сидели, плотно прижавшись друг к другу, поджав под себя ноги и подпрыгивая на коленях, как две отвратительные жабы.

Да, я никогда не забуду этой ужасной ночи.

Таким образом мы дожидались рассвета, коченея от страха, с судорогами в ногах, ожидая нападения неизвестных нам чудовищ.

С рассветом разум вернулся к нам и, прежде чем уйти из болота, мы осмотрели все соседние кочки. На одной из них мы нашли следы человеческих пальцев, втиснутые в рыхлую почву кочки, и несколько сломанных веток ежевики.

Что еще я могу сказать тебе? Я допрашивал всех и каждого, стараясь объяснить себе случившееся с нами приключение. Между прочим, от илпатьевских объездчиков я узнал, что как-то в июне месяце, вечером, они разогнали в лесу, на горе, около Лосёва куста, целую толпу крестьянских девушек, кажется, из разных селений. Они собирали клубнику, а когда объездчики кинулись на них, пугая лошаадьми и нагайками, девушки разбежались кто куда. Одна

из них, как говорят, забежала со страха в Лосёв куст, свихнула там себе ногу и всю ночь до рассвета провела в этом болоте на кочке, донельзя перепуганная, промокшая до мозга костей и измученная болью ноги, холодом и страхом. Стрелял ли кто-нибудь в эту девушку, а также в ночь на какое число произошло все это, объездчики не знали.

## БРЕД ОЗЕРА

Он сказал:

— Вы хотите слушать что-нибудь необычайное, почти сверхъестественное? да? Если так, то я могу рассказать вам случай, который произошел со мной несколько лет тому назад.

Он замолчал, поджидая с нашей стороны ответа.

Мы все изъявили желание и оглядели его бледное лицо с недоумением. От него мы не ждали никаких рассказов, так как знали его за человека в высшей степени скрытного и молчаливого. И это тем сильнее подзадоривало наше любопытство. Мы стали просить его скорее приступить к рассказу.

Он устало приподнялся с кресла, пересел на диван, подальше от света лампы, и продолжал:

— Я назову свой рассказ «бредом озера», так как я и до сих пор наверное не знаю, кто из нас бредил в ту ночь: я, Карпей, или озеро?

— Карпей — это мой слуга, — добавил он после короткой паузы. И он замолчал снова, обхватив колено руками и не глядя на нас.

Наше любопытство возросло еще более. Дамы проворными руками стали свертывать свои рукоделия, сверкая камнями колец.

И, устало поглядывая на эти сверкавшие руки, он лениво заговорил:

— Однажды вот такие же точно руки перевернули весь мой разум и всю мою логику вверх ногами. Белое стало казаться мне черным, а черное — белым. Раньше — сделать приятелю пакость я считал бы за наигнуснейшую подлость, а тогда, после того, как меня перевернули вверх тормашками эти руки, я склонен был думать совсем наоборот. Дело в том, что я полюбил жену моего друга и желал ее, во что бы то ни стало. Всегда и всюду я видел только эту жен-

щину, а мой друг скрылся от меня в какой-то темный угол, откуда я даже его и не видел. Обмануть его, — Боже мой! — я считал это за совершеннейший пустяк. Она одна, эта женщина, стояла передо мной как солнце, а он, ее муж, превратился для меня в какую-то козявку, которую даже и не разглядишь невооруженным глазом. Я не знаю, со всеми ли это бывает так, но мне, по крайней мере мне, когда я любил, всегда казалось, что через эту женщину я узнаю что-то самое существенное, какую-то удивительную тайну, которая откроет мне глаза на самую суть вещей. Мог ли я задумываться после этого над какими-нибудь пустяками? И я решился не задумываться. Овчинка мне казалась стоящей выделки.

Он снова замолчал, устало поглядывая на огонь лампы.

— Эту женщину, — наконец, продолжал он, — звали Ниной Сергеевной. С ее мужем я был приятелем долгие годы, но судьба как-то разъединила нас на некоторое время; женился мой приятель как раз в этот промежуток времени, так что, когда мы снова встретились, его женитьба явилась для меня новостью. А встретились мы в Петербурге. В это время я начал службу в министерстве уделов, где служил и мой приятель. Мы снова стали видеться почти ежедневно, и наши дружеские отношения возобновились. Однако, вскоре они прекратились; впрочем, не прекратились, нет; мой друг был расположен ко мне по-прежнему, но я перестал интересоваться им, я позабыл даже о его существовании; я всецело был поглощен Ниной Сергеевной. Конечно, я бывал у них почти каждый вечер, но, когда я заставал моего друга дома, я недовольно хмурился. И мне всегда казалось, что мой недовольный вид радовал Нину Сергеевну. Она как будто догадывалась, в чем дело, и эта догадка наполняла ее всю восторгом. Украдкой она бросала на меня порой такие взгляды, что у меня голова шла кругом. И тут же, после одобрительного взгляда, она принималась иногда хохотать самым беззаботным образом. Я не скажу, чтобы этот смех доставлял мне удовольствие. Чаще в эти минуты я готов был поколотить ее, если бы это было принято. Итак, я проводил время, то млея под одобрительны-

ми взглядами, то беснуясь от беспощадного смеха. Как-то вечером я был у них. Все трое мы сидели на диване и вели какой-то спор, который нам должен был разрешить энциклопедический словарь. Как свой человек, я пошел за ним в темный кабинет моего приятеля. Перед этажеркой я стал на колени, разыскивая во мраке то, что мне было нужно. И в ту же минуту ко мне вошла Нина Сергеевна; она опустилась рядом со мной на колени и, прежде чем я успел опомниться, она обхватила мою шею руками и припала к моим губам коротким поцелуем. Я услышал ее быстрый вопрос: «Любишь?» и шелест удаляющихся юбок. Она исчезла так же внезапно, как и явилась, а я остался перед этажеркой в самой дурацкой позе. Когда я вновь вошел в гостиную, в моих руках вместо энциклопедического словаря оказался какой-то скотолечебник, и над этим более всех смеялась сама Нина Сергеевна. А меня ее короткий поцелуй окончательно свел с ума. Он походил на укусы осы: короток, но памятен. После этого поцелуя между мной и Ниной Сергеевной установились отношения довольно-таки странные. Мы виделись ежедневно, и наша близость простиралась до того, что она по вечерам не раз заходила ко мне на холостую квартиру; мой слуга Карпей, дурковатый деревенский парень 20-ти лет, с флегматичным одутловатым лицом скопца, уже безошибочно узнавал ее звонки. Однако мой курс стоял все еще низко, очень низко. За это время я еще несколько раз был награжден укусом осы. И это все, что я успел завоевать у этой женщины; чем-нибудь большим я не имел права похвастаться. Конечно, такое положение дел порою погружало меня в самое мрачное отчаяние. И вот, однажды вечером Нина Сергеевна пришла ко мне вся расстроенная, чуть ли не в слезах, со следами бессонной ночи на усталом и бледном лице. Я немедленно усадил ее в кресло и стал допытываться о причине ее горя. Сначала она как будто колебалась, а затем заговорила. Она начала откуда-то издалека, а затем с умоляющими жестами и сияющими глазами стала просить меня, чтобы я устроил ее мужу перевод в Симбирск; она утверждала, что с моими связями я могу устроить этот перевод в 2 недели,

без всякого труда, а между тем это ее спасет чуть ли не от смерти; муж не желает этого перевода, но, если перевод будет выгоден, муж не станет протестовать. А ей этот перевод прямо-таки необходим. В Петербурге ей угрожает опасность. Ей стыдно сознаться, но однажды она дала одному господину какое-то слово, конечно, ради шалости, по легкомыслию, и вот теперь этот человек преследует ее всюду и грозит ей каким-то скандалом. Собственно говоря, она плела ужасную околесицу, но я верил ей безусловно, так как каждое слово, выходявшее из ее уст, казалось мне каким-то божественным глаголом. И я сидел против нее бледный и расстроенный ее горем. А она, по-прежнему умоляюще сияя глазами, шептала, что, конечно, я не забуду ее и приеду к ней в Симбирск; она будет мне писать, часто писать, и когда ее муж отправится в обычную командировку, она, мы... Вы понимаете, в какое место она была меня? Немедля, я дал ей клятву признать для себя законом каждый ее жест. Когда она уходила от меня, из ее муфты выпало письмо со штемпелем «Симбирск»; ее щеки внезапно вспыхнули, когда она нагнулась поднять его, а я тотчас же отправился к дядюшке, и через десять дней ее муж был переведен в Симбирск с весьма солидным повышением. А еще через неделю я получил от нее письмо. Мои руки дрожали, когда я рвал конверт, но едва лишь я прочитал первые строки, как на меня пахнуло полярной зимой; в этом письме, кроме пустой болтовни, не было решительно ничего. Затем я получил еще одно такое же письмо, и больше ни звука. Ни намек о прежнем, о том поцелуе у этажерки. Я поджидал третьего письма, более теплого и искреннего, и не дождался никакого. Тогда я послал ей всего две строки: «Перевожусь в Олонецкую губернию, к медведям, лесничим», и вскоре после этого письма я уже сидел с моим дурковатым Карпеем в Олонецких дебрях. Петербург стал для меня невыносим. Ведь я же прекрасно понимал, какую роль я только что сыграл там. Ведь ей был нужен этот перевод затем, чтобы быть поближе к нему, к своему возлюбленному. И я любезно устроил ей это. Зачем же я ей теперь? Что ей во мне? Я не имел права сердиться на нее; я это

сознавал прекрасно. Ведь я же считал за козявку ее мужа, так почему же она не могла принять за козявку меня? И она воспользовалась мной как козявкой. Вот и все. Тут сердиться было не на что, да я и не сердился, мне только было очень тяжело, почему я и уехал к медведям и стал караулить никому не нужный лес. Впрочем, своим местожительством я был от души доволен. Петербургом тут и не пахло, а это все, что мне было нужно. Мне хотелось переболеть в одиночку.

Рассказчик на минуту умолк, обвел присутствующих взором и продолжал снова:

— Я не скажу, чтобы мое излечение подвигалось вперед слишком успешно. Образ Нины Сергеевны ходил за мной по пятам, и я носился с ним, как с зубной болью. Мне мучительно хотелось знать, как-то она проводит свое время, с кем смеется, вспоминает ли обо мне? Но как я мог увидеть ее? какими средствами возможно было добиться этого? Однажды я весь день мучился этою мыслью и ходил по кабинету, ломая руки; и в конце концов я нашел способ. Я был уверен, что увижу Нину Сергеевну. Вечером, когда короткий зимний день потух и на небе вышли звезды, я сказал Карпею:

— Сейчас мы пойдем в лес, к озеру.

— Гоже, — отвечал он мне.

Я продолжал:

— Мы сядем у самого озера и будем смотреть.

— Смотреть? — переспросил Карпей.

— Смотреть. И увидим Нину Сергеевну.

— Нину Сергеевну?

— Да; ты не будешь бояться?

— Бояться? Чего ж бояться! — И он неизвестно почему рассмеялся.

Я видел, что этот простак верит мне безусловно, и это меня ободрило.

Впрочем, он и всегда свято верил мне и смотрел на меня, как на высшее существо.

Мы надели полушубки, захватили шестизарядные магазинки и лесом отправились к озеру. Через полчаса ходь-

бы мы были уже на берегу озера. Его застывшая поверхность, покрытая девственно белым снегом, вся мягко светилась, испуская из своих пор едва заметный, прозрачный пар. Столетние ели унылым венком окружали его и серебряный серп месяца медленно выдвигался из-за темной стены этого венка, бросая на матовую скатерть озера вкрадчивый и лукавый, постоянно колебавшийся свет. Тишина вокруг стояла необычайная, и эта тишина сразу наполнила нас жутким ощущением. Мы опустились на какой-то поваленный ствол, положили на колени наши магазинки, перевели дыхание, насторожились и стали смотреть прямо перед собою. Я сидел и думал. Я часто замечал, что человек имеет способность передавать природе свои настроения. Часто летняя ночь наигрывает нам именно то, чем томится наше сердце, и если нам весело, листья роц хохочут рядом с нами, как сумасшедшие. И чем напряженнее наше настроение, тем ярче оно воспринимается природой. И я думал, что и теперь озеро может воспринять мои желания, и оно покажет мне Нину Сергеевну, как пустыня явлением миража показывает жаждущему путнику брызжащий водомет. И я сидел, смотрел на этот вечно колеблющийся свет месяца и весь томился желанием поскорее увидеть ее. Я был уверен, что увижу ее. Мне даже казалось, что среди этого лунного света начинает сгущаться какое-то темное ядро. И я не сводил глаз с этого ядра; я даже совсем забыл о существовании Карпея. И вдруг он ухватил меня за руки и заглянул в мои глаза. Его лицо было неузнаваемо. Оно все было одухотворено какой-то необычайной мыслью, а в его потемневших глазах мерцал ужас. При этом он весь дрожал, как в лихорадке.

— Она, — прошептал он, стуча зубами, — она!

Я снова взглянул туда, в полосу лунного света, куда глядели глаза Карпея, и увидел ее. Она была в темном платье, а ее бледное лицо и продолговатые глаза глядели удивительно скорбно.

Карпей, дрожа всем телом, прошептал:

— Пишет.

Я повторил: «Пишет!», так как она действительно писала, я это хорошо видел, писала письмо. Кому? Зачем? И мы глядели на видение, горевшее над озером в лучах лунного света, как в сказочном зеркале. Мы дрожали, как в лихорадке, поглядывая на эту дивную картину, и тихо перешептывались с жестами сумасшедших. Я не знаю, кто проявил это изображение, — я, Карпей или озеро, — но она вырисовывалась перед нами, как живая, до последней пряди волос, до выражения рта, до родинки над верхней губой. Мы оба дрожали всем телом, не сводили глаз с этой удивительной картины и переговаривались шепотом.

— Тебе пишет-то, — шептал Карпей, трогая меня за локоть полушубка.

— Мне, — кивал я головой и содрогался в плечах.

— Знать, любит? — выпрашивал Карпей.

— Любит, — шептал я как во сне.

Внезапно я понял все. Да, теперь она любила меня, именно меня, — потому что я был от нее так далеко, а того, кто был с ней рядом, она уже презирала. Ведь издали мы все много занятнее. Меня точно что ударило по голове, лишив рассудка. Я позабыл, что передо мной мираж, больная мечта, галлюцинация. С воплем, простирая руки, я бросился туда, к ней, к полосе лунного света. А над моей головой один за другим прогремели все шесть выстрелов магазинки. Это стрелял в пространство совершенно обезумевший Карпей. У меня подкосились ноги; я ткнулся лицом в снег. Очнулся я в земской больнице, у доктора, за 50 верст от того места, где я упал. Доктор пожимал мои руки и говорил:

— Езжайте, голубчик, опять в Питер. Вам нужны люди, общество, рассеянная жизнь. Наша глушь вам не по вкусу, и здесь вы рехнетесь точно так же, как рехнулся ваш Карпей. Он совсем безнадежен.

— Карпей сошел с ума, — добавил рассказчик, — его сонный организм всколыхнулся только однажды во всю жизнь, но всколыхнулся до основания. И теперь я подозреваю, что это именно он заставил в ту ночь бредить и меня, и озеро. Может быть, ему помогла в этом святая вера в мои слова, что мы увидим ее.

Кто-то спросил:

— А что же Нина Сергеевна? действительно ли она полюбила вас?

Рассказчик сердито буркнул:

— Ну, уж это не ваше дело!

И он замолчал, точно ушел в раковину.

## ОСТРОТА ЗРЕНИЯ

Мы — великолепные перлы творения! Жемчужины из жемчужин! Величественные цари природы! Кто это сказал? Ха-ха! Я боюсь, что я лопну от смеха.

Перлы! Что вы знаете? Какую истину заработали вы вашим умом? И вам ли открывать истины, вам ли, слепорожденным кротам?

Поглядите на себя внимательно и беспристрастно. Ваше зрение тупее зрения муравья, а ваши мышцы хилее мышц стрекозы.

Можете ли вы видеть во тьме с остротой кошки? Плаваете ли вы, как рыба? Летаєте ли, как сокол, и зачем вы заимствуете у цветов их пленительный запах? Ха-ха!

Вы хотите сказать мне:

— Ты несправедлив. Мы можем плавать в воде, как рыба, благодаря подводной лодке. Бегать быстрее коня при помощи электричества и пара. Летать выше сокола на аэроплане. Хорошо. Но зачем вы пристегиваете ваши имена к именам сотни безумцев, вручивших вам все это? Разве они не были случайными выродками среди вас? Чем же доказал свое родство с ними хотя бы вон тот Петр Иванович, который идет сейчас по улице? Ведь он не в состоянии даже зажечь шведскую спичку, если у него вырвать коробок! Ха-ха!

Или, быть может, вся ваша сила в ваших умозаключениях, в ваших познаниях, в вашем уме? Но тогда кто поручится мне за их достоверность? Кто?

Два и один не всегда три. Даже и эта истина не всегда справедлива. Не всегда! Вам нужен пример?

Как-то давно, не знаю, когда именно, у меня было два дома: один в именье, в деревне, на берегу речки, другой — в провинциальном городе. Я купил еще один в том же городе, и все-таки, вопреки вашей логике, у меня стало их два. Ибо в то время, когда я сидел в конторе нотариуса, заключая купчую на новоприобретенный дом, мой дом в деревне сгорел дотла. Помню, эта арифметика неприятно поразила

меня в ту минуту. Когда я вернулся к себе в деревню, я ворчливо подумал:

— Вот тут и рассчитывай!

Еще одна арифметическая задача.

$48 + 2 = 50$ . Так? Но мой сосед владел стадом рогатого скота в 48 голов. Ему захотелось иметь ровно 50, почему он и прикупил еще две головы. Но, когда он ввел их в свое стадо, у него не осталось ни одной, ибо одна из новокупленных принесла с собою чуму.

На этот раз для моего соседа вышло:  $48 + 2 = 0$ .

Все наши познания, выкладки и расчеты лишь приближительны и вероятны, но не точны.

Мы говорим:  $2 + 1 = 3$ .

А кто-то улыбнется и скажет:

—Посмотрим! Это не всегда так.

И тогда выходит, что  $2 + 1 = 2$ ;  $48 + 2 = 0$ .

Все наши органы крайне несовершенны, и как мы познаем через них совершенное? Мы, жалкие кроты, познающие мир лишь с точки зрения наших грубых органов, наших тупых чувств, нашего далеко не совершенного ума. Попробуйте обострить хотя бы ваше зрение до крайнего его напряжения, и тогда вы сами ужаснетесь той картины, которая внезапно развернется перед вами. И вы ясно увидите тогда, как вы страшно ошибались ранее в ваших выводах.

Перлы творения со зрением крота! Ха-ха! Для того, чтобы не заблудиться в лесу, перл творения должен обзавестись компасом, а птица совершает свои далекие перелеты, не пользуясь этим инструментом, ибо у нее есть предчувствие, которого совсем не имеем мы.

А что такое красота? Разве она не в зависимости от остроты нашего зрения? Впрочем, буду рассказывать все по порядку.

Как-то мне случайно встретилась девушка, поразившая меня своей красотой. Тонкая и стройная, с грациозной белокурой головой и нежным цветом лица, она резко выделялась из толпы, как прекрасная лилия, взрослая среди лопухов. Я увидел ее и полюбил сразу, а через несколько

месяцев она стала моей женой, ибо и она полюбила меня всем сердцем. Мое счастье казалось мне бесконечным. Я безумно любил мою жену и гордился ею, как великолепнейшим цветком; я не знал тогда, что вся ее красота обусловливается лишь тупостью моего зрения, и я ловил ее поцелуи, как подарки неба. Кожа ее лица, красота ее великолепно очерченных губ, — все в ней влекло меня к себе неудержимо, и я упивался ею, боготворя ее красоту, как лучшее украшение природы. Я поклонялся этой красоте, как божеству, я — жалкий и слепой крот! Я не знал, что меня обманули, жестоко обманули!

Однако, через некоторое время я несколько утомился моею любовью, и мой любимый труд, мои научные исследования, забытые ради красоты этой женщины, вновь повлекли меня к себе. Видимо, я предчувствовал инстинктивно, что красота там, куда нам воспрещен доступ, а не здесь, у тела этой женщины. Не здесь, не здесь! И в то же время я сознавал, что женщина будет мешать моим пламенным изысканиям, так как науке надо отдаваться так же, как и женщине, сберегая лишь для нее одной все свои силы. Ввиду этого я уговорил мою жену уехать погостить к ее родителям хотя бы на месяц, на два, в далекий провинциальный город, ссылаясь ей на неотложные и серьезные работы. Она поплакала, но согласилась со мной и уехала. Я вновь остался один и заперся у себя в кабинете с целыми рядами микроскопов, поджидавшими меня, как грозные батареи, при помощи которых я хотел атаковать неведомые миры, неведомые области и страны. Мне было жаль жену, но что же делать! Доступ в те неведомые области так труден и мучителен; каждый малейший шаг вперед требует от нас непоколебимого упорства и такого напряженного подъема всех наших сил и способностей, что нередко мы падаем, раздавленные этой непосильной ношей пробужденного и восставшего духа. А благодарная толпа идет следом за нами, шагая по нашим телам, как подохлым котяткам. И она рвет из наших рук сомнительные плоды наших ужасных усилий, ломая нам костенеющие пальцы, в то время, когда мы истекаем кровью. Ха-ха!

Итак, я весь погрузился в работу, не видя людей, не выходя на улицу, все часы проводя с моей могучей батареей. Два раза в день прислуга приготавлила мне в соседней комнате пищу и питье. Дважды в неделю я получал от жены письма; раз в неделю я писал ей коротко и просто. И это было все, что напоминало мне о жизни. Я был один с моим исследованием.

Между тем, моя батарея работала на славу, я лихо обстреливал неведомое и ждал, что вот-вот стены неприступного Иерихона дрогнут и падут с негодующим гулом. Я ощущал в моем сердце уже радость и счастье победителя, ко тут я стал замечать за собою нечто не совсем заурядное.

Я стал замечать, что мое физическое зрение как бы несколько притупилось, а духовное страшно обострилось и окрепло. Иначе сказать, глядя прямо перед собой в пустое пространство, я мог великолепно вообразить и ясно видеть все, что только приходило мне на ум, хотя бы самый обыкновенный лист самой обыкновенной писчей бумаги. При этом я всегда видел его не таким, каким он кажется всем вам, а таким, каким он является, будучи рассматриваем в микроскоп. Только таким. Как видите, выросла и окрепла сила моего воображения, причем это воображение никогда не коверкало предо мной изображаемые им предметы, а показывало мне их, как они есть по существу, перед зорким глазом науки, а не перед тупым глазом крота. Правда, такую силу мое зрение проявляло лишь минутами, и это состояние несколько удручало меня, но все же оно не мешало мне в моих работах. Когда же, впервые после перерождения моего зрения, я сел писать жене письмо, мне встретились непреодолимые препятствия, ибо мне пришлось старательно обходить пером все эти рытвины и канавы, недоступные обыкновенному зрению, но ясно видимые мной теперь на листе бумаги. Повторяю, писанье по такому изрытому полю доставило мне много хлопот, и, вероятно, мое письмо представляло собою весьма оригинальное зрелище, ибо ровно через сутки жена взволнованно постучалась в дверь моего кабинета. Я узнал ее еще на лестнице по ее походке и быстро пошел на стук ее руки; я был взволнован

радостью встречи.

Ведь я же любил ее, любил! Однако, когда я отпер дверь и увидел лицо моей жены, я не узнал его. Это было не оно, не оно! Прежде казавшееся мне прелестным, оно представляло теперь собой одну сплошную болячку, всю иссверленную темными ходами пор, испещренную ярко окрашенными наростами, покрытую грубой сетью лиловых жил, вздувшихся, как веревки. О, как было отвратительно это лицо! То, что так сильно влекло меня к ней раньше, теперь возбуждало лишь во мне отвращение, ужас, тошноту, головокружение. Ибо я глядел на нее глазами науки.

Зачем я прозрел, зачем!

Я в ужасе попятился от жены. А она стояла предо мной, недоумевающая и ошеломленная, видя на моем лице лишь ужас и отвращение, и она пыталась улыбнуться какими-то язвами вместо губ. Я крикнул, отстраняясь от нее. Она бросилась ко мне на шею, рыдая. Я снова неистово крикнул:

— Уходи! Уходи!

Кое-как, с большими усилиями, я расцепил ее руки, словно закоростевшие вокруг моей шеи, и отшвырнул ее прочь.

Я, как был, стремительно выскочил на улицу. И сразу же я очутился в каком-то ужасном зверинце, среди отвратительных гадов с болячками вместо лиц. В ослепительном свете великолепного летнего дня, в шуме большого города я увидел их, этих гадов, везде, всюду, в экипажах, в окнах магазинов, сновавших по панелям с ужасными гримасами. Они кишели вокруг меня, как отвратительные черви.

Я дико крикнул и пустился бегом, спасаясь от ужаса. А потом я упал. Я очнулся здесь, в этой самой комнате. Мне хорошо здесь; ко мне не пускают никого, а когда ко мне является мой ассистент-доктор, я закрываю мои глаза рукой, беседуя с ним. Я не хочу видеть его болячки. В моем кабинете нет зеркал: я их боюсь; на моих руках всегда надеты перчатки.

И ничто не мешает моим работам.

$48 + 2 = 0$ ;  $2 + 1$  — сколько?

Давно ли я живу здесь? Вероятно, у моей жены есть уже теперь любовник, и он целует ее, он — жалкий урод, ее — отвратительную гадину! И они счастливы! Слепые кроты! Ха-ха!

## СМЕРТЬ

Вот уже целая неделя, как я хожу сам не свой. Это произошло со мной совершенно неожиданно, застигло врасплох, как буря на море, как смерч в пустыне, как поезд, сошедший с рельсов. И я показался самому себе донельзя слабым, жалким и беспомощным. Вероятно, таким чувствует себя ребенок, потерявший мать на шумной и людной площади, где тысячи щегольских экипажей грозят ему смертью. Это ощущение беспомощности охватило меня всего, с ног до головы, и ни за что не хочет выпустить из своих рук.

Однако, я еще попробую бороться с ним. Сейчас же принимаюсь за работу — еду в поля, в луга, в лес.

-----

Еще целая неделя мучений. Я худею и бледнею; это уже замечают все. Я сам рою себе преждевременную могилу. Боже, кто вынет из моей головы мысль, которая сверлит мой мозг, как прожорливый червь?

Я боюсь умереть — вот источник моих страданий.

Две недели тому назад к одному больному соседу приехал из Москвы врач-знаменитость. Я воспользовался случаем пригласить знаменитость к себе, так как чувствую по временам сердцебиение. Знаменитость осмотрела меня со всех сторон и объявила, что у меня порок сердца. Так-таки прямо в глаза мне и заявила:

— Можете прожить лет сорок, но можете умереть и через год. А то, пожалуй, и через месяц; и это случается.

Знаменитость многозначительно пососала конец левого уса и положила в карман своего жилета 25 рублей за приятный сюрприз.

Я уверен, что если я умру через месяц и знаменитость узнает об этом, она будет очень довольна своей проницательностью. Я знал доктора, который предсказал моему дру-

гу смерть день в день, минуту в минуту. И когда после ему напоминали об этом, его лицо расплзлось в самодовольнейшую улыбку.

Спросите его, чему он радовался?..

Я слышу по коридору стук шагов. Это идет моя жена. Приходится прятать дневник и корчить улыбающееся лицо.

-----

Впрочем, почему я так боюсь смерти? Ведь мне всего 35 лет, я силен, полон энергии, и неужели судьба будет так безжалостна?

Знаменитость, может быть, просто-напросто сболтнула для красного словца, а я плохо сплю по ночам, порой внезапно просыпаюсь с холодными ногами, чувствуя головокружение и тошноту, а днем брожу, как потерянный, с одной и той же мыслью в голове. Я прислушиваюсь к биению своего сердца и от напряжения мои уши наполняет шум; мне кажется, что в саду играет буря. Я боюсь, что со мной будет обморок и хочу позвать жену. Я уже ставлю свои холодные ноги на пол, но в ту же минуту мне делается до боли стыдно за свою трусость, за свою мнительность, за свое животолюбие. И я снова с жалкой улыбкой кутаюсь в одеяло.

Знаменитость сказала, что я могу умереть через месяц. С того момента, как она изрекла это, прошло уже 17 дней.

Боже мой, неужели мне остается жить только 13 суток?  
13 суток, 13 суток, 13 суток!

Кроме этого, я ни о чем не могу думать. Это суть всего сущего.

Если бы мои посевы побил градом, усадьбу спалило молнией, а моя жена убежала бы от меня с первым встречным, — право, в настоящую минуту это не особенно поразило бы меня.

13 суток — вот центр, к которому прилепилось все мое существование.

Я гадаю самому себе.

-----

Сегодня, после небольшого дождика, шумного и веселого, вся окрестность внезапно просветлела, точно хороший человек улыбнулся; между небом и землей разлилось что-то прекрасное, необычайно нежное, ласкающее слух, вкус и обоняние. Я на минуту повеселел. Но когда я шел двором мимо кухни, я услышал голос жены. Она говорила:

— 12 суток.

Что такое 12 суток? Почему 12 суток? Неужели и жена верит словам знаменитости? Я ринулся в кухню, бледный, как полотно, и опять почувствовал проклятое головокружение. Кажется, у меня тряслись колени. Жена изумленно раскрыла на меня свои глаза. Кухарка попятилась к печке.

Оказалась самая обыденная история:

12 суток тому назад посажены на яйца индейки. А я-то думал...

Надо взять себя в руки!

Ах, да! У меня косят луга, нужно съездить к косцам, а то я совсем отстал от дела.

-----

Давно не садился за дневник. Необычайное происшествие отбило было у меня охоту писать.

Необычайное происшествие! Сейчас расскажу все по порядку.

Я поехал в луга с кучером в шарабане. День был веселый и солнечный. Поймы освещены так, что хоть сейчас пейзаж пиши. Косцы в праздничных нарядах, от травы медом пахнет, в кустах коростели кричат. Я сидел, смотрел на небо и землю и думал.

Элины верили в существование гиперборейцев, которые могли жить по тысяче лет и более. А когда жизнь надоедала им, они бросались со скалы в море. Великолепная легенда, счастливая страна! Вот это я понимаю. Умереть, когда хочешь. Страшна не смерть, а эта деспотическая власть слепого фатума. Страшно жить под вечным страхом, что

тебя вот-вот, ни за что ни про что, притянут на цугундер. Ужасно это нелепое своеволие судьбы, которая в каждый момент может столкнуть тебя в какую-то яму и превратить в пыль. Я думал приблизительно так, между тем как мой кучер внезапно повернул лошадь налево и даже слегка подстегнул ее. Я увидел, что он направляет ее к группе мужиков, толпившихся между двух ветелок. Мое сердце замерло; не знаю почему, я почувствовал, что ехать туда для меня небезопасно, что-то, что я увижу там, может дурно повлиять на мое здоровье, но я не имел силы остановить кучера. Меня поджигало мучительное любопытство. Мужики при нашем приближении расступились, снимая шапки. Кучер остановил лошадь. Я уже догадался об всем и поспешно вылез из шарабана. На земле передо мной лежал труп косаря. Я сразу узнал покойника. Еще вчера он выглядел здоровым и веселым и особенно громко хохотал вечером у костра.

Я глядел на него, пытаясь пронизать его своими глазами. Мне хотелось выпытать у него тайну, самую важную из всех когда-либо существовавших. Но он молчал. Он лежал на земле как-то особенно плотно и тяжело, точно земля слегка вдавалась под ним, желая поскорее поглотить все это неуклюжее тело целиком, без остатка. Его глаза были прикрыты двумя медными монетами, а его губы, посинелые и сухие, были раздвинуты в нелепую улыбку. Сразу было видно, что они улыбнулись так навсегда. Что может быть ужаснее жеста, сделанного раз навсегда? Я жадно смотрел на труп.

Две зеленые мухи ползали по его бороде, забирались на нос и слетали на полураскрытые губы. Казалось, они что-то взвешивали и соображали. Вероятно, они желали приступить к завтраку и не знали, откуда им лучше начать. Даже трава имела на труп свои виды; она заглядывала в его уши, теснилась у его боков и перешептывалась, совещаясь. Она соображала, сколько можно наделать цветов из знатных мускулов трупа. А ветер, припав к самой земле, лизал холодные и влажные омертвелые волосы покойного коса-

ря, как голодный пес. Вся природа готовилась скушать своего победителя и полубога.

Я понял все и глядел на труп, бледный, как полотно, дрожа в коленях.

Да, я понял все.

Тут вражда, непримиримая вражда!

С тех пор, как первобытный человек вышел с дубиной из своей берлоги, он покори́л всех и все. Он прошел с огнем и железом по девственным лесам и степям. Он придавил своей могучей пятой всю землю и даже забрался на небо и прикинул на весы солнечную систему. Но он не победил смерти и в этом вся его ошибка. Нужно было начинать с этого. Или все или ничего! А теперь вся эта побежденная им армия, многочисленная, оборванная, голодная и обделенная жестоким победителем, ловит его врасплох, подкрадывается к спящему, точит микробами его органы, заражает вредными испарениями и пожирает ослабленного. У кого нет силы и ума, тому помогает лукавство.

Человечеству следует победить смерть — или отказаться от всех своих побед.

Я продолжал глядеть на труп, как вдруг ветка соседней вербы ласково прикоснулась к моей щеке. Я вздрогнул, как от пощечины. Неужели «им» мало косаря и «они» уже обрекли в снедь и меня? Мне хотелось приказать вырвать эту вербу с корнем и испепелить в порошок.

Однако, я воздержался и поспешно сел в шарабан, холодея от страха.

Кучер одним духом доставил меня домой.

Когда я вылез из шарабана, мой страх внезапно сменился злобой. У меня задержало губы. Я подошел к кучеру и крикнул ему в самое лицо:

— Я знаю, что ты нарочно подвез меня к мертвому косарю. Ты знал, негодяй, что это плохо отзовется на моем здоровье!

Я круто повернулся и пошел к крыльцу. На первой же ступеньке я упал, как подкошенный.

-----

Трое суток я лежал в постели. Доктор бывал каждый день. Осмотрит меня, выйдет в другую комнату и пошепчется с женой. Воображают, что делают это осторожно, а я все вижу и про себя злюсь. Не ел почти ничего; все возбуждает тошноту, пахнет трупом. Доктор со мной необыкновенно ласков, лебезит и заискивает, как перед умирающим. Я отношусь к нему безразлично. Язык, впрочем, показываю ему с наслаждением.

-----

Продолжаю хиреть.

С того момента, как знаменитость изрекла свое предсказание, прошло двадцать пять суток.

Четвертые сутки обдумываю одну и ту же мысль. Какую — пока секрет.

Утром произошел маленький пассаж с женой. Она пришла в мою комнату прекрасная и нарядная, в белом платье, осыпанном алыми бантиками. Она походила на хорошенький цветок, на который упала стая резвящихся мотыльков. Но я не любитель цветов. Я знаю, что эти с виду невинные создания причастны каннибальству и не брезгают трупным удобрением.

Жена тоже немало унесла у меня здоровья, хотя бы тем, что я сильно любил ее, а на любовь расходуешь силы. Природа на каждом шагу ставит нам ловушки. Очень уж ей хочется хоть чем-нибудь одолеть своего победителя.

Я долго беседовал с женой и она, в конце концов, расплакалась. Мое сердце наполнила злоба. Чего она начинает оплакивать меня вживе? Я взял жену за руку, тихонько вывел ее из комнаты и запер двери на ключ.

-----

Ночью был припадок.

Жена прибежала ко мне, бледная и дрожащая. Я пла-

кал, бился и дрожал от ужаса. Я боюсь смерти, вид трупа возбуждает во мне отвращение и я не хочу идти на завтрак зеленым мухам. Но, рано или поздно, они одолеют полубога и всеобщего победителя. Все это я говорил жене, но она поняла только, что мне очень плохо и проплакала со мной всю ночь. Ее слезы не трогали моего сердца, мне снова ужасно хотелось взять ее за руку и вывести вон из комнаты, но я напрягал всю волю, чтобы победить это желание.

Кстати, мне нужно некоторое упражнение воли. Это мне пригодится. Для чего — пока секрет.

Жена так и уснула на моей постели, вся в слезах. А я просидел в кресле, дрожа от холода и страха.

Завтра весь день не буду курить. Нужно упражнять волю.

-----

Не курил весь день. Чувствую себя бодрым. На рассвете уснул на полчаса и видел во сне радугу. Сейчас умылся и зарядил револьвер. К чаю вышел веселый, но чаю не пил.

-----

Последняя ночь.

Страшна не смерть, а ее неизбежность и сознание своей беспомощности. Страшно жить с вечным сознанием этой беспомощности. Гипербореицы победили смерть, потому что сами бросались со скалы в море. Я поступлю, как гипербореец, и пусть земля поглотит мой труп. Я говорю ей:

— Я победил тебя и подчинил своей воле. Ты, как раба, пресмыкаешься у моих ног, но я из сострадания снизошел к тебе и отдаюсь на твою волю. Кушай на здоровье! Знай, что если я раньше боялся смерти, то только потому, что гнушался стать твоей снедью. Я не дорожил твоей оболочкой, взятой у тебя напрокат, и если бы мне доказали бессмертие, — там, вне тебя, — я бы не оставался на тебе ни одной минуты!..

## КОШМАР

Он лежал на неопрятном диване и спал. Его ноги были до колен накрыты тяжелым из серых овчин полушубком. Рядом с диваном, у изголовья спавшего помещался маленький столик, на котором стояла наполовину выпитая бутылка водки; возле бутылки валялся на боку стаканчик плохого зеленого стекла, а дальше белела тарелка с солеными огурцами. Пол горницы был неровен, и, когда спящий шевелился, стол начинал постукивать одной ножкой, а валявшийся на боку стаканчик покатывался и позвякивал то о бутылку, то о тарелку с огурцами. В комнате было темно и тихо. Две восковые свечи скупо озаряли из угла унылый полумрак комнаты. Одна из свечей теплилась перед распятием у пробитых гвоздями ног Спасителя, а другая мерцала перед образом апостола Петра, слева от распятия, в углу, возле затянутого кисейной занавеской окна. Свечи иногда потрескивали и бросали из-за пучка верб свет, блуждавший пятнами и по кисейной занавеске окна, и по неровным половицам горенки, и по бледному лицу спавшего человека. Угол обтянутой красным кумачом подушки выдвигался из-под головы спавшего. Его лицо было бледно и искажено страданием. Можно было подумать, что человек этот тяжело ранен в голову, а угол подушки обагрен его кровью. Под глазами спавшего темнели лиловые круги. Световое пятнышко лежало пониже его левого глаза и едва шевелилось, как жадно присосавшийся паук. Спавший даже почесал у себя под левым глазом и застонал, скрипя зубами. В комнату тихо вошла совсем молодая и очень красивая женщина с бледным лицом и румяными губами, Одно из световых пятнышек, бесцельно ползавших по полу, перебралось на подол ее чистого ситцевого сарафана и, по мере того, как женщина подвигалась к дивану, переместилось с подола сарафана на металлическую пряжку ее ременного кушака.

— Савва Кузьмич! — позвала женщина спавшего и боязливо заглянула в его измученное лицо.

Спящий не шевелился и лежал неподвижно с головой, глубоко ушедшей в подушку. Женщина вздохнула.

В горенке было жарко и до одурения пахло богородской травой и мятой, которые сохранялись тут же в шкафу, собранные летом и в изобилии засушенные на зиму, как потогонные средства и лекарства чуть ли не от сорока недугов. У образов потрескивали свечи. Молодая женщина глядела на спавшего и думала:

«Ах, Боже мой, до чего это люди к винищу бывают страстны!»

— Савва Кузьмич! — снова позвала она.

Спящий пошевелился. Световое пятнышко, сидевшее под его глазом, передвинулось ближе к носу; из-под полусубка показались тяжелые сапоги. Но Савва Кузьмич не проснулся и только заскрипел зубами.

«Ах, Господи, вот спит-то!» — подумала молодая женщина и даже руками всплеснула. Она, вероятно, отчаялась когда-нибудь добудиться спящего и пошла вон из комнаты. Ее черные, тяжелые косы лениво зашевелились на спине, как сытые змеи.

А Савва Кузьмич по-прежнему лежал на спине, тяжело дышал и видел странный сон.

В лесу было темно и холодно. Сырой осенний ветер шумел по лесу, срывая последние листья и швыряя их куда попало, как никому не нужное тряпье. Савва Кузьмич уже давно блуждал по этому лесу, тщетно силясь выйти на опушку. Его как будто томила лихорадка. Непрерывно усиливающийся шум леса наполнял его сердце безотчетным ужасом. Ему почему-то казалось, что это шумит не лес, а ревет вода, прорвавшая где-то плотину и с бешеной яростью устремившаяся на Савву Кузьмича, чтобы захлестнуть его своими волнами и увлечь куда-то далеко, в какую-то бездну без конца и начала, мрачную, холодную и ужасную, похожую на смерть или на ад.

Савва Кузьмич вздрагивал всем телом и медленно подвигался вперед, бросая вокруг беспокойные взоры. Нако-

нец он вышел на поляну и остановился. Эта поляна сразу возбудила в нем жгучее любопытство. По его лицу как будто прошла улыбка. Он с трудом перевел дыхание, прислушался и на цыпочках пошел по поляне, внимательно оглядывая в опушке каждый кустик, каждое дерево, каждый пенек. Савва Кузьмич не ошибся. На одном из деревьев висела на сучке новая, крытая казинетом и подбитая ватой поддевка. Савва Кузьмич сразу узнал эту поддевку и остановился. Его сердце замерло от ужаса и жгучего наслаждения, как у охотника, с большим трудом выследившего опасного, но дорогого и редкого зверя.

Савва Кузьмич на цыпочках подкрался к поддевке; он осторожно распахнул ее на груди и полез в боковой карман этой поддевки, холодея от острого и мучительного чувства. В кармане он нащупал бумажник. Савва Кузьмич слегка вздрогнул и тихонько двумя пальцами потащил бумажник вон из кармана, косясь на поддевку, точно боясь, что она увидит его движение и схватит его пустым рукавом за горло. Однако, поддевка не шевелилась и ее рукава висели как-то беспомощно-слабо.

Поддевка как будто спала. Савва Кузьмич сел на корточках под деревом и раскрыл украденный им у поддевки бумажник. По его губам снова скользнула улыбка. В бумажнике были деньги. Он повернулся спиной к поддевке, а лицом к тучке, за которой прятался месяц и, помочив слюнями кончики пальцев, стал считать ассигнации. В бумажнике было 2500 рублей. Савва Кузьмич переложил деньги из чужого бумажника в свой, а чужой закинул в кусты, насколько хватала только его рука. После этого он внезапно почувствовал облегчение, как человек, хорошо выполнивший трудное и рискованное поручение. Он хотел было подняться на ноги и идти отыскивать дорогу, но внезапно на его голову упала поддевка. Савва Кузьмич услышал, как ее пустые рукава стали искать его горло. «Сафроньевский приказчик!» — подумал он с ужасом, и его ноги задергало. На его лбу выступил холодный пот. Ему хотелось кричать и отбиваться руками, но ни язык, ни руки не повиновались ему более. Между тем, пустые рукава поддевки сильнее и

сильнее сдавливали его горло. Савва Кузьмич собрал всю свою волю, замотал головой, застонал и проснулся. Он открыл глаза, с удивлением оглядел горенку и поставил ноги на пол. «Опять до припадка напился», — подумал он, косясь на бутылку. Затем он перенес свой взор на зеркало. Оно отражало худощавого, среднего роста мужчину с помятым желтым лицом, беспокойными глазами и рыжеватой бородкой. «Экая харя-то богопротивная», — подумал Савва Кузьмич с тоской и жалобно позвал:

— Аннушка, Аннушка!

В комнату вошла черноволосая женщина. Савва Кузьмич покосился на образа.

— Аннушка, зачем ты свечи зажгла? — спросил он, почесывая смятый ворот русской рубахи.

Аннушка удивленно раскрыла глаза.

— Как зачем? Завтра день-то какой?

— Какой еще день?

— А вы, видно, память-то пропили? Какой день? Греховодник! Рождество Христово, вот какой!

Аннушка поправила ременный кушак, стягивающий ее тонкую талию.

— Бесстыдник, — продолжала она, покачивая головой, — допились до того, что ничего не помните. Я вас будила, будила, а вы только зубами скрипели.

— Какими зубами? — с раздражением переспросил Савва Кузьмич.

Аннушка фыркнула.

— Какими? Известно, не моими.

— Сны, что ли, вы нехорошие видите? — добавила она.

— Сны нехорошие, — крикнул Савва Кузьмич, — а тебе какое дело, срока!

Аннушка пошла вон из комнаты, но на пороге остановилась и повернулась лицом к Савве Кузьмичу. Ему показалось, что в ее глазах вспыхнул лукавый огонек.

— А вас, Савва Кузьмич, Никодимка-работник спрашивает, — прошептала она.

Савва Кузьмич потянулся и зевнул.

— Зови его сюда.

Аннушка исчезла.

— Никодимка, — услышал Савва Кузьмич ее голос из соседней комнаты, — Никодимка, иди, тебя сам кличет.

На пороге появился Никодимка, белобрысый парень в рваном и очень коротеньком полушубке. Это был рабочий Саввы Кузьмича. Он крестился на образа и стоял на пороге, держа под мышкой какой-то сверток.

— Чего тебе? — спросил Савва Кузьмич.

Никодимка высморкался.

— До вашей милости; сделайте божескую милость, отпустите меня на деревню. Завтра я чуть свет здесь буду.

Савва Кузьмич нахмурил брови.

— То-то вы все отпустите, да отпустите! Я уж и без того всех отпустил. Всего с Аннушкой, да с тобой остался.

Никодимка переминался с ноги на ногу.

— Нет, уж вы и меня, сделайте милость, отпустите. Тут до деревни две версты всего, рукой подать, а завтра я чуть свет назад буду.

Савва Кузьмич почесал нос.

— Страшно одному-то. Неровен час, случится что.

Он подумал и добавил:

— Ну, да уж ладно, иди. Только ты, сделай милость, присядь, добрый человек, покалякаю я с тобою полчаса. Скука меня томит. На сердце так вот и вертит. Присядь, сделай милость. Тошно мне.

Никодимка осторожно опустил сверток на пол, на цыпочках подошел к дивану и опустился рядом на стул.

Затем он для чего-то вытер свои довольно чистые руки о грязные полы полушубка.

— Это что у тебя? — спросил Савва Кузьмич, кивая на сверток.

— Поддевка новая.

— Хорошая?

Парень осклабился.

— Буквально хорошая, казинетовая и на вате.

Савва Кузьмич улыбнулся.

— Празднику, значит, радуешься?

Парень просиял. Глаза его забегали, как мыши.

— Известно, радуюсь. Празднику кажиный хрестьянин, Савва Кузьмич рад бывает.

— Ну нет, ты этого не говори, — перебил его Савва Кузьмич, — не кажный может празднику радоваться, не кажный! Я вот тоже радуюсь, а вот приятель у меня есть один, из мещан он тоже, так тот не радуется. Нет, брат, ему не до радости. Его перед праздником, как беса, корежит!

Савва Кузьмич тихо засмеялся.

— Приятелю этому, — продолжал он, — Мухоморов фамилия. Меня-то Антроповым прозывают, а вот его Мухоморовым. Не слыхал такого?

Никодимка шевельнулся на стуле.

— Нет, не слыхал.

Савва Кузьмич вздохнул.

— И хорошо, добрый человек, сделал, что не слыхал. Этот человек, — добавил Антропов, приближая свое лицо к Никодимке, — этот человек душегубству причастен.

Савва Кузьмич вдруг откинулся к спинке дивана и заглянул в глаза Никодимки.

Тот сделал губами «тсс!» и покачал головой.

Несколько минут прошло в молчании. Только восковые свечи потрескивали у образов. Их желтое с синей сердцевиной пламя колебалось и как бы подпрыгивало, точно пытаясь соскочить с черного стержня светильни.

— А ты не хочешь ли, братец, водки? — неожиданно спросил Савва Кузьмич Никодимку.

Тот встрепенулся.

— Дозвольте, если ваша милость будет. Много выпить я буквально не могу, а стаканчику завсегда рад.

Собеседники выпили по стаканчику. Никодимка отвернул дырявую полу своего полушубчика и обмахнул им все лицо. Кончик его носа покраснел.

Антропов продолжал:

— А знаешь ли ты, каким образом Мухоморов душегубству причастен? Не знаешь? Так слушай.

Случилось это годов пятнадцать тому назад. Мухоморову в те поры двадцать пять лет стукнуло. И содержал он двор постоялый. Ну, конечно, с гроша на копейку переби-

вался; дворникам по нынешним временам плохой доход. Так вот, заехал как-то к Мухоморову этому самому на двор приказчик из соседнего имения, богатого, надо тебе сказать. Заехал и ночевать остался. А это, вот как и теперь, зимой происходило, и у Мухоморова полон двор извозчиков был. Ну, и заметил Мухоморов, что у приказчика этого портемонет битком деньгами набит... Он, конечно, околь него и так, и сяк, и эдак, и тары-бары, и винцом и закуской, и в глаза глядит, и лебезит, и только что, сучий сын, хвостом не вертит. Нда-с. Приказчик, конечно, заснул, а Мухоморов, не будь дурак, портемонет у него из кармана и выуди! А в портемонете том ни много ни мало, а две с половиной тысячи! Вот оно дело-то какое! Ну, утром извозчики кто куда расползлись, и приказчик, конечно, уехал и даже о деньгах не спохватился. Хмелен был. Уехал он, но часа через полтора шасть опять на постоялый двор. Так и так, дескать, деньги у вас обронил. Говорит, а сам белее снега. Не погуби, говорит, если нашел, отдай; не мои деньги, а господские. И зачал он перед Мухоморовым лбом в землю стучать, а сам плачет, заливается, как в лихоманке дрожит. И что же бы ты думал? Не выдал ему денег Мухоморов. Уперся, собачий сын! Знать, дескать, не знаю, ведать не ведаю! Вот какие люди, братец ты мой, на свете бывают!

Савва Кузьмич вздохнул. Никодимка снова сделал губами «тсс!» — и покачал головой. Он перегнулся и положил локоть правой руки на колено.

— Звери, а не люди, — продолжал Антропов, внимательно разглядывая лицо Никодимки и как бы наслаждаясь эффектом своего рассказа. — Звери, а не люди! Оно, конечно, соблазн велик был. Две с половиной тысячи — хорошие деньги, а в те поры самого Мухоморова со всей требухой его за триста монет продать на базаре можно было. Нда-с, — Антропов пожевал губами.

Его голова слегка покачивалась на плечах.

— Только, — продолжал он, — не выдал Мухоморов денег приказчику, а вскорости продал двор свой постоялый и маклачить кое-чем начал. Известно, денежка к денежке бежит, и теперь у него свой собственный хуторок есть и, ок-

роме этого, всего прочего вволю.

Савва Кузьмич снова замолчал. Никодимка смотрел на него посоловелыми от водки глазами и слегка посвистывал носом. В комнате было тихо и жарко. Пахло богородской травой и мятой. Слышно было, как Аннушка постукивала на кухне горшками. Савва Кузьмич налил себе стакан водки, залпом выпил его, закашлялся и сплюнул. Затем он хотел вытереть усы, но промахнулся и ткнул рукой в подбородок.

— Нда, — сказал он, — покачиваясь всем станом. — Нда! Что же, по-твоему, должен теперь чувствовать перед праздником Мухоморов этот самый, если приказчик, которого он ограбил, повесился? А, как ты думаешь? Какие-то теперь ему, Мухоморову, сны снятся, и каково-то он, помещик состоятельный, время свое проводит, а?

Антропов грозно глядел на Никодимку. Его лоб вспотел. Никодимка все так же меланхолически посвистывал носом.

— К вину Мухоморов пристрастен стал, — продолжал Савва Кузьмич после небольшой паузы, — шибко запивает. Иногда случается, по цельной неделе без просыпу крутит!

Антропов вздохнул и продолжал задумчиво;

— А жаль его. Парнишкой хорошим рос. Только вот позывы стяжательские рано сказались в нем. Бывало, младенцем семилетним сидит он себе на подоконничке ночью и все на небо смотрит. И как звездочка по небу прокатится, он сейчас же: «Поддай мне, Боженька, тысячу рублей!» губками розовенькими прошепчет. Прошепчет и вздохнет. И, понимаешь ли, ни единой звездочки без этих слов не пропустит!

Савва Кузьмич улыбнулся.

— А то еще, — продолжал он, — подарит ему маменька к празднику душистого мыльца кусочек, и он сейчас с этим мыльцем на улицу бежит, мальчишкам уличным нюхать дает и говорит: «За это мыльце маменька миллион рублей заплатила!» — Антропов расхохотался.

— А мальчишки нюхают и руки назад держат, дотронуться боятся!

— Да неужели же? — спросил Никодимка.

Савва Кузьмич не переставал смеяться.

— Чего неужели же? — еле выговорил он, захлебываясь от смеха и содрогаясь всем телом.

Никодимка сделал сладкое лицо.

— Неужели ихняя маменька за кусочек мыла миллион рублей платила?

— Дурень, дурень, — раскатывался от смеха Антропов, — пятачок она медный платила, пятачок!

Савва Кузьмич поперхнулся и замолчал.

Он долго сидел так и молчаливо глядел на противоположную стенку горенки. Его брови были сосредоточенно сдвинуты, а лицо постепенно как бы темнело.

— Да, — процедил он задумчиво, — шибко запивает теперь Мухоморов. Невкусно, видно, ему.

Антропов придвинулся к Никодимке.

— И знаешь что? — продолжал он многозначительно и даже понизил голос. — Виденья теперь ему некие являються. Туда зовут!

Савва Кузьмич показал рукой на потолок.

— Туда. Милосердие ему обещают. Милость некую ему изъяснить желают. Да! — Савва Кузьмич понизил голос до шепота.

— Сафроньевский приказчик, — прошептал он, — за показание прощенье сулит.

Антропов еще ближе придвинулся к Никодимке и поймал его за руку.

— А милосердия, — прошептал он с судорогами в губах, — Мухоморов не желает!

— Муки он алчет, муки! — вдруг выкрикнул Антропов, выпуская руку Никодимки и окидывая всего его строгим взглядом.

— Не так скроен Мухоморов, — продолжал он, вздрагивая, — чтоб его милостью взять можно было. Муки он алчет, и только после муки у него от сердца откатывает. Милость незаслуженная в нем только злобу родит. Да! А перетерпеть — страшно. Возврата к прежнему не будет. В пустыню Мухоморов уйдет. Да. Вот они дела-то какие, друг мой

сердешный. И хочется туда, да страшно! И кричишь, вроде как бесноватый: «Уйди, нет тебе до меня дела»!

Антропов отвалился к спинке дивана, пожевал губами и приподнял голову. Его лицо несколько просветлело.

— А как ты, Никодимка, — внезапно спросил он, — такого, как Мухоморов, человека назовешь?

Савва Кузьмич насмешливо смотрел на Никодимку. Глаза Никодимки беспокойно забегали.

— Как я его назову? — переспросил он. — А вы, Савва Кузьмич, не осердитесь?

Антропов сдвинул брови. Его лицо снова потемнело.

— Да мне-то что за дело, — процедил он и притворно зевнул.

— Стервятником я его назову, — прошептал Никодимка, в упор уставясь в глаза Саввы Кузьмича, — стервятником!

Антропову показалось, что губы Никодимки гневно дрогнули.

— Вот как? — прошептал он.

— Да, вот как, — отвечал, слегка кривляясь от злобы, Никодимка и встал. Он прошелся по комнате, как бы пытаясь унять охватившее его волнение.

— Извините, мне на деревню пора, — наконец проговорил он, поднимая с полу сверток и вздыхая.

Антропов тоже встал, отыскал шапку и надел ее, сдвинув на затылок.

— Иди, я за тобой ворота запру, — прошептал он.

Его глаза встретились с глазами Никодимки. Савва Кузьмич почувствовал жгучее беспокойство. Фигура Никодимки показалась ему донельзя странной. Однако он пошел за ним вон из комнаты. Они прошли еще одну комнату, миновали кухню и через холодные сени вышли на двор.

Ночь была тихая, морозная и звездная. Белые тучки пролетали порой по небу, как светлые духи. Ночь точно ожидала чего-то ясная, светлая, покойная и уверенная в том, что ожидаемое свершится. Ветер не дышал. Белая тучка подползла к месяцу, поласкалась о его серебряный серп и полетела дальше. Где-то, может быть очень далеко, с веток

деревя почти с металлическим шорохом посыпался иней. Белая тучка, вероятно, услышала этот шорох, на минуту остановилась, как бы задумалась, и вдруг стала разматываться, как клубок.

Антропов стоял в воротах, прислонясь спиной к столбу. Никодимка уже был от него сажень в десяти. Он шел, поскрипывая снегом, и с каким-то особенным форсом размахивал локтями, так что сверток под его мышкой беспокойно вилял справа налево. Никодимка как бы умышленно мелькал им перед глазами Антропова.

Антропов узнал этот сверток. Это была поддевка Сафроньевского приказчика. Савва Кузьмич как-то весь вздрогнул и как бы растерялся. Но это продолжалось не более секунды. Он овладел собой. По его лицу прошло что-то смелое и удалое. Оно даже как будто осветилось.

— Никодимка, — крикнул он, улыбаясь, — а ведь Сафроньевского приказчика не Мухоморов облапошил, не Мухоморов, а я!

Никодимка обернулся. В его лицо ударил лунный свет, и оно показалось Антропову донельзя веселым и сияющим.

— Да я, — отвечал Никодимка, — да я, Савва Кузьмич, с первых же слов ваших догадался об этом, потому что на душегубах и стервятниках завсегда особый отпечаток есть!

Никодимка сверкнул всем лицом и круто повернулся. Антропов задрожал от бешенства и бросился вслед за ним. Но Никодимки нигде не было. Может быть, он завернул налево, за угол серебряного сада, может быть, спустился в русло крутобережного оврага направо. Как бы там ни было, он исчез, как бы провалясь сквозь землю.

Такое внезапное исчезновение Никодимки ошеломило Савву Кузьмича, и он, забыв запереть ворота, с тревогой и беспокойством в сердце отправился к себе в дом. В кухне его встретила Аннушка. Она была чем-то раздражена и, подперев кулаками свою тонкую, как у осы, талию, злобно набросилась на Антропова.

— Чего вы забегались? Чего вы, оглашенный человек, забегались, только дом студите? — кричала она, наскакивая на Савву Кузьмича и сверкая глазами.

Тот смешался.

— Да я, родимушка, Никодимку-работника провожал.

— Какого еще Никодимку, пропащая вы головушка, сна на вас нет, пропойца несчастная?

Савва Кузьмич смутился окончательно.

— Да Никодимку-работника.

Аннушка заволновалась еще более.

— Перекрестите вы зенки ваши непутевые! Какого еще Никодимку-работника, когда вы его, вот уже двое суток, как на деревню отпустили!

Савве Кузьмичу стало холодно.

— А завтра какой день?

— А завтра Рождество Христово!

Савва Кузьмич хотел, но не имел силы заглянуть в глаза Аннушки. Он стал смотреть на кончик ее носа.

— А когда я сон о Сафроньевском приказчике видел? — прошептал он, чувствуя озноб.

— О приказчике? О каком приказчике? — закипятилась Аннушка, и все ее лицо покраснело от гнева. — О каком это еще приказчике? Какой сон? А я почему знаю! Може, вы сон-то этот полгода назад видели!

Она хотела еще что-то сказать, но Антропов отстранил ее рукой и прошел к себе в комнату, сосредоточенно сдвигая брови.

«Так Никодимки не было, — думал он, — так, стало быть, это они под видом Никодимки кое-кого ко мне подсылали! Много ведь у меня приятелей-то!»

— Сафроньевский приказчик здорово там орудует! — прошептал Савва Кузьмич, подходя к шкафчику и отворяя его.

— Сафроньевский приказчик шельма! — вслух произнес он. — Сафроньевский приказчик шило!

— А вы опять, негодный человек, за водку принялись? — услышал он за спиной.

Он обернулся; перед ним стояла Аннушка. Все ее хорошенькое личико было в красных пятнах.

— Отдайте сей минуту бутылку, аспид вы этакий! — кричала она, хватаясь за руки Антропова. — Отдайте бутыл-

ку, аспид.

Между ним и молодой женщиной завязалась борьба. Савва Кузмин обхватил ее осиную талию. Бутылка выскользнула из его рук, стукнулась об пол и с дребезгом разбилась в куски. Антропов не выпускал из объятий молодую женщину, ее лицо было рядом с его, и ему показалось, что глаза Аннушки внезапно загорелись, как у пьющего горячую кровь хорька. Ее малиновые губы полураскрылись и как будто пересохли. Антропов задыхался.

— Аннушка, — прошептал он, чувствуя, что его голову наполняет горячий туман.

У него застучало в висках. Он впился в нее глазами. Аннушка смотрела на него все тем же взором хорька. Он сильнее стиснул стан молодой женщины. В ту же минуту Аннушка уперлась обеими руками в грудь Антропова и изо всех сил толкнула его прочь. Тот качнулся, потерял равновесие и, взмахнув руками, полетел на пол.

— Стервятник, — почудился ему насмешливый голос Аннушки.

Она опрометью выскочила из комнаты. Ее съехавший с головы платок болтался на шее.

Однако Савва Кузьмич нашел в себе силы подняться с пола. Он пошел, с трудом передвигая ноги, за молодой женщиной. В его голове стремительно крутился горячий вихрь. Ему хотелось чего-то до наглости смелого, дерзкого, нелепого. Он как будто принял от кого-то вызов и решился переступить через что-то самое важное, переступить или сложить за свою попытку голову.

Антропов, пошатываясь, подходил к заменявшей прихожую кухне и видел, как Аннушка, накинув шубку и теплый платок, выскочила в сени. Он бросился следом за ней. Но в сенях выходная дверь оказалась уже запертой снаружи на запор. Савва Кузьмич бешено застучал кулаками в дверь.

— Аннушка, — кричал он, — Аннушка!

— Чего вам? — послышалось из-за двери.

Савва Кузьмич припал лицом к двери.

— Аннушка, вернись, я пошутил, — сказал он ласково.

— Как же, пошутили, — слышалось за дверью, — ви-дела я зенки-то ваши сатанинские. Золотом меня осыпьте, не останусь я ночевать с вами. Вы еще, того и гляди, задушите! Нет, я на деревню ночевать пойду. Боюсь я вас. Вы посмотрите-ка на себя в зеркало.

Антропов услышал, как закрипели по снегу Аннушкины шаги. На него напал страх.

— Аннушка, — крикнул он в испуге, — Аннушка, Аннушка!

Овета не было. Аннушка, очевидно, ушла ночевать на деревню. Антропова все покинули.

— Аннушка, — крикнул он в последний раз и пошел в дом. Его сердце колотилось с невероятной силой. Глаза лихорадочно горели. Выбившиеся из-под шапки рыжеватые волосы прилипли ко лбу. В кухне он остановился и простоял около получаса, чувствуя прилив непреодолимого ужаса, вздрагивая плечами и боясь глядеть по сторонам. Он не решался идти в спальню, так как был уверен, что там уже все было приготовлено для его встречи. Враги его, наверное, постарались об этом. Наконец, он решился и, еле волоча ноги, бледный и дрожащий, двинулся к себе в спальню.

На пороге Антропов остановился, как вкопанный. То, что он увидел, превзошло его ожидания.

Перед распятием у ног Спасителя горела не одна свеча, а три. Его раньше запрокинутая назад голова была опущена долу и покоилась на груди, а апостол держал свою свечку в руке. В то же время под распятием, почти касаясь головой ног Спасителя, стоял Сафроньевский приказчик. Его руки были сложены как бы для молитвы, а взор устремлен вверх.

Антропов стоял оцепенелый. Теперь он понял, почему Аннушка и Никодимка оставили его одного. Все это было заранее предусмотрено ими. Ему показалось, что настала минута перешагнуть через самое важное. Его сердце загорелось дерзостью. Но он еще колебался. И тут он увидел, что губы приказчика зашевелились. Антропов услышал.

— Господи, прости мя, окаянного, и врагов моих. Гос-

поди, взываю к Тебе!

Савва Кузьмич понял, что приказчик молится за себя и за него, и это переполнило чашу его терпения.

— А я, — хотелось ему крикнуть, — а я милости твоей не желаю!

Однако голос не повиновался Антропову. Его слова как бы прилипли к устам. Это взбесило его. Он сорвал с головы шапку и изо всех сил швырнул ею в лицо покойного. И тогда произошло нечто неожиданное. Глаза апостола вспыхнули негодованием, а его рука вздрогнула. Апостол выронил свечу. Свеча, описав дугу, упала в складку на кисейную занавесь окна. Занавесь загорелась. Между тем, Антропов бегом бросился вон и, зацепив в кухне за порог ногой, без чувств грохнулся на пол.

Когда Антропов очнулся, вся внутренность его домика была уже в пламени. Пламя шумело во всех комнатах, точно там сшибались, дрались и хлопали крыльями тяжелые огненные птицы.

Антропов в минуту сообразил, в чем дело, и бросился к окну в кухне. Он вышиб звенья, в кровь порезав себе руки, но за окном была ставня, запертая снаружи. Тогда он схватил случайно подвернувшуюся ему под руки скамейку и стал изо всех сил бить ею в ставню. Брызги стекла летели ему в лицо, в соседних комнатах шумело пламя, как вода, как лес в бурю. Антропову было жарко, но он упрямо работал скамейкой. Однако, ставня не поддавалась. Антропов вспомнил, что она была окована снаружи железом и прекратил работу. Нужно было искать другого выхода. Огненные языки уже стали заглядывать в кухню. Савва Кузьмич, захватив с собой скамейку, ринулся в сени к выходной двери. Он знал, что она заперта снаружи запором, но хотел попытаться вышибить ее из косяков. Он решил во что бы то ни стало отстоять свою жизнь и, передохнув, высоко взмахнул скамейкой. Он нанес первый тяжкий и могучий удар. Дверь дрогнула, но ни одна из ее досок не выскочила. Антропов собрал все свои силы. Жилы его на его висках налились и вздулись. Он снова заработал скамейкой. Удары один за другим посыпались на дверь. Антропов работал бе-

шено, в иступлении, точно он громил своего заклятого врага, но тем не менее, тяжелая дубовая дверь не поддавалась. Она стояла в косяках целая и невредимая, как могучий богатырь, преграждая дорогу Антропову. Между тем, от скамейки вскоре остались одни щепки. Пламя сильнее бушевало в комнатах. Казалось, что там вертелись в бешеной пляске какие-то сверхъестественные огненные создания. Истлевшие клочья сгоревшей мебели кружились под самым потолком, как летучие мыши. Шум усиливался. Огненные призраки выпрыгивали порою сквозь отпертую дверь из кухни в сени и снова исчезали за дверью. Однако, порог был уже в их власти. Антропов бросил осколки скамейки на пол. Он уже начал отчаиваться в спасении, но его мысль продолжала еще упрямо работать, и озлобление не покидало его. Он напрягал память. Наконец, Савва Кузьмич вспомнил. Тут же в сенях за его спиной есть лестница на чердак, а в крыше дома прорублено слуховое окно. Он бросился к лестнице. С его исцарапанных и изрезанных рук сбегала кровь. Во всем теле чувствовалась ломота. За своей спиной он слышал торжествующий гул, производимый пляской огненных призраков.

Антропов перевел дух. Он уже был на чердаке. Облако едкого дыма наполняло чердак сверху донизу, но пламя еще не пробило усыпанного землей потолка. Огненные языки показались только слева у карниза и в середине около кухонной трубы. Они выглядывали на секунду и исчезали снова, и Антропову казалось, что они следят и шпионят за ним, чтобы броситься на него в самую удобную для них минуту. Савва Кузьмич с трудом отыскал глазами единственное слуховое окно и бросился туда. У него подкосились ноги. Слуховое окно было слишком узко, Савве Кузьмичу удавалось только просунуть голову и одно из плеч. Тогда он попытался поднять спиной накрывавшие окно доски. Он упирался руками в крышу и делал невероятные усилия, пытаясь сбросить доски проклятой ловушки спиной и затылком. От его рубашки остались одни лохмотья, а он все еще изгибал спину, рычал, как зверь, и в иступлении колотился затылком о доски. Наконец он утомился. Его, очевидно, покида-

ли силы. Между тем, шум и возня под его ногами усиливались. Там что-то злорадно свистело, шипело и торжествующе хлопало. Внизу, вероятно, происходила целая оргия. Ногам Антропова становилось горячо. Он смотрел на небо, выставив в окно голову, левое плечо и руку. Его ожесточение сменялось апатией. Он отчасти был уже доволен тем, что дышит чистым воздухом и видит звезды. Его мысль работала лениво. Прямо перед окном посреди двора сидела собака и выла протяжно и жалобно. На белом снегу трепетали огненные тени.

«Ну и что же, — думал Антропов, — ну, и пусть я сгорю, и кому я нужен? Просил о страдании, и услышан, преступил, и казнен!»

Мысль Антропова шевелилась еле-еле, как отходящая ко сну птица.

«Господи, благодарю Тя!» — думал он.

Антропов смотрел на небо.

— Господи, благодарю Тя! — прошептал он и внезапно заплакал. Он плакал тихо и горько, но не из злобы, даже не из жалости к самому себе, а от умиления, которое внезапно вошло в его сердце. Он признал то, от чего бегал всю свою жизнь и чего боялся, как огня. Он признал милосердие и прощение.

Антропов впадал в забытие. Его высунутая из окна рука повисла, как плеть. На дворе выла собака, и мелькали огненные тени. Потом рядом с огненными тенями появились черные. Они беспорядочно метались по двору и как бы подступали к домику. Затем внезапно одна из черных теней отделилась из общей массы, на минуту пропала и снова появилась на крыше домика. Она ползла к слуховому окну, как кошка к птице. Над головой Антропова что-то треснуло. Его кто-то ухватил, куда-то поволок и сбросил на что-то холодное.

Очнулся Антропов у себя на постели. Вокруг него толклись знакомые мужики из соседней деревушки, а рядом с ним стояли Никодимка и Аннушка. Все они беспорядочно галдели, недоумевая, из-за чего Савва Кузьмич разбушевался так сильно, что они впятером еле могли унять его.

Однако, Савва Кузьмич ничего не понимал этого. Он сидел в изодранной рубашке, поджав под себя ноги, улыбался жалкой улыбкой, плакал и непрерывно кланялся народу, припадая лбом к своей постели. Он благодарил народ за милосердие.

## БУНТ АНГЕЛОВ

Мы сидели в прекрасной мастерской Новосельцева, залитой резким светом мартовского солнца, и любовались его последней работой, которая скоро должна была украсить собой выставку, любовались его вдохновенной картиной «Бунт ангелов». Попивая красное вино, мы тихо переговаривались и любовались, любовались, не отрывая глаз. Новосельцев, возбужденный нашим вниманием, пояснял кое-какие подробности этого огромного холста и умиленно, как мать, любующаяся сыном, щурил свои серые, острые глаза, зоркие и ревнивые глаза взыскательного художника. А мы все любовались. Картина охватывалась зрителем тотчас же вся сразу, до последнего мазка, и сразу же делалась ясной! В небесах, где-то в межзвездных сферах, взбунтовались ангельские легионы и, потрясая копьями и мечами, они чего-то в негодовании требовали, прекрасные в своем святом гневе — неистовые, страстные.

Вот о чем свидетельствовала эта картина. И эти-то сплетения в одно безукоризненное кружево совершенно противоположных страстей, гнева и скорби, слез умиления и криков негодования особенно ярко были выражены художником, так всецело охваченные в каждом жесте, в повороте головы, в изломах бровей, в судорожном зажиме пальцев, обнаживших пламенные мечи.

— Полудемоны, полуангелы, — прошептал сотрудник «Вечерней почты», — вдохновенный красочный парадокс! Почти гениальный! Почти...

— Почему почти? — спросил художник Голубев, шевеля львиной гривой.

Новосельцев, щуря глаза, пояснил:

— Они видят Голгофу, вы понимаете? Вот там, далеко, за туманами, на земле едва наметились те ужасные кресты. Чаша долготерпения Христова уже переполнилась, и Он простонал: «Отче мой, за что Ты оставил меня»! Вы понимаете...

те? И вот часть ангельских легионов взбунтовалась. Вот эти. Вы видите? И требуют, понимаете, требуют, чтобы Бог оставил казнь. Понятно? Вы улавливаете эту мысль?

— Это бунт против Бога? А-а-а, какая мысль, — возбужденно простонал сотрудник «Вечерней почты».

— Вам понятно? — опять спросил Новосельцев почти со слезами в глазах.

Голубев, яро потрясая своей гривой, воскликнул:

— Как ты только смог постичь это удивительное сплетение верха и низа, добра и зла, гнева и скорби!

— Я увидел вот этого передового ангела вот здесь, у этой портьеры, — вдруг упавшим голосом проговорил Новосельцев, — я зарисовал его с натуры, я почти осязал его, весь охваченный точно внезапным безумием...

— С натуры? — ничего не понимая, таращил глаза Голубев.

Почти с изнеможением в глазах и бледнея всем лицом, Новосельцев добавил:

— Вот, на фоне этой красной портьеры он вырисовался, как в зареве пожара... Это был удивительный миг!

— Вы галлюцинировали! — воскликнул я. — Ну да! Ну, конечно!

— Это было днем или ночью? — спросил Голубев.

— В сумерки, — отвечал Новосельцев, — и я не знаю, галлюцинировал ли я; я его видел, видел, вот здесь, так ясно, так ясно. Я сидел в сумерки вот в этом кресле и все мучился, мучился, как и все те дни, и как все те ночи, не находя для моих ангелов лиц, фигур, поворотов, жестов. И, кажется, я стонал в муках бессилия, и даже скрежетал зубами. И вдруг...

— Что вдруг? — заторопил его Голубев.

— И вдруг повернул голову, и увидел его вот здесь, — Новосельцев указал рукой место.

Мы переглянулись. Если бы не смертельная бледность лица Новосельцева и не изнеможенное мерцание глаз, мы могли бы подумать, что он шутил над нами. Но нам было ясно по его виду, что ему совсем не до шуток, что одни воспоминания о том часе повергают его в лихорадку, в не-

дуг, в бред. И мы верили в каждое его слово.

— Вот здесь, — повторил Новосельцев. — И в первую же минуту, как я увидел его, я хотел закричать благим матом и бежать вон из мастерской опрометью, но любопытство художника превозмогло все... И я остался. И жадно ощупывал его глазами. А потом сказал:

— Ты — не то, что мне нужно. Ты — демон.

Но его искаженные уста разомкнулись, и я услышал:

— Я — ангел. Один из тех, о которых сказано: «И тогда Он пошлет ангелов Своих, и соберет избранных Своих от четырех ветров». Я — ангел. Разве ты не читал Марка?

И я опять ревниво оглядел его, ощупывая его глазами, превозмогая ужас и оторопь. И снова сказал:

— Нет, ты — демон!

Он почти закричал:

— Я — ангел. Демон пытался совратить Спасителя и Господа нашего в тяжкие ночи Его искушений, а я пел вместе с другими, пел в светлую ночь Его рождения: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» И я не изменил и до сего дня этой великой мечте. Как смеешь называть меня демоном? Ты!

Он глядел на меня с такой бесконечной скорбью и с таким бесконечным негодованием, и пламя меча его колебалось, бросая вокруг него зеленоватый круг, как свет, упавший от молнии в непогодную ночь.

— А если ты — ангел, — с трудом выговорил я, — так почему твои крылья и твои ризы темны, серы, как сумерки, и где целомудренная безмятежность твоих очей? О да! В твоих глазах ужас, скорбь и негодование!

— Безмятежность моих очей я возвратил Господу Богу в ту ночь, в ту памятную ночь! — почти закричал ангел с резким жестом.

— В ту ночь, — повторил я, опуская голову. — В ту ночь...

— В ту самую ночь, — повторил и ангел почти надменно, — целомудренная безмятежность показалась мне ненужной игрушкой, лишней прихотью, в ту самую ночь. И я возвратил ее Вседержителю... Возвратил. Слышишь? Пони-маешь?

Я еще раз оглядел его, содрогаясь от волнения, и тут, как будто, я стал понимать его. И я все глядел на него, притихнув в своем кресле. А он вырисовывался передо мной такой прекрасный, и такой гневный, и такой негодующий!

Глухо он проговорил:

— Я почел более справедливым отказаться от собственного блаженства, нежели оставаться в бездействии в дни великих поруганий любви! А тебе все еще нужна моя безмятежность? Зачем? На что?

Он облил меня с головы до ног таким высокомерным презрением, что сердце зажглось во мне, и передо мной осветились внезапно все глубины и тайны. Я встал с кресла, услышав знакомый трепет в пальцах, и сделал первый робкий шаг к натянутому холсту. Вот туда.

— В ту ночь, в ту ночь, — между тем, простонал ангел, — знаешь ли ты, что происходило в ту ночь перед престолом Вседержителя? В ту ночь великих поруганий Любви? Ведь тогда все несметные легионы ангелов были готовы ежеминутно пасть на землю.

И когда стон изнемогшей любви коснулся неба, и когда небеса слышали: «Отче Мой, за что Ты оставил Меня!» — бесчисленные копия заколебались в руках ангелов, как лес молний, и планеты на мгновение содрогнулись, готовые смешаться, нарушив тяготение, в первобытном хаосе. А перед престолом Вседержителя на одну минуту пронеслось уже ледяное дыхание смерти.

А из моих уст вырвался громовой возглас:

— Бунт ангелов!

— Но легионы не выдержали, — продолжал ангел, — и пали ниц перед верховным престолом, будто раздавленные единым взглядом Вседержителя, как железной пятой. И, содрогаясь в мучениях, исторгая от себя святые слова святой песни, как крики мучений, они запели:

— Благоутробный и милостивый Боже, испытай сердца и утробы и тайная человеческая ведый Един!

Так пели ангелы, и слезы падали из их глаз как молнии. А я, с десятком других, мне подобных, остался верен себе и пал на землю, чтобы стать — отгадай, кем?

— Ангел замолчал и точно потух, — продолжал Новосельцев, — а я бросился к холсту, и с натуры, верите ли, с натуры стал зачерчивать излом его бровей и губ, поворот его головы, его фигуры, позу, форму меча. А после, — вы об этом слышали в намеках? — я два месяца пролежал в клинике для нервнобольных... попросту, сумасшедших. Вы слышали?

Художник замолчал, устало опустил в кресло, немощно согнулся, как старик, и из его глаз медленно выползли две слезы.

Однако мы еще целый час любовались его картиной, затем с благодарностью пожали благодатную руку художника и тихо, как храм, покинули его мастерскую.

## ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ 1900 ЛЕТ

Эти странные записки попали в мои руки случайно. Откуда, как, — не все ли это равно? Вот эти записки:

-----

...Мне 1900 лет. 1900 лет! 1900 лет позора, ужасов, тьмы. И только одно светлое, бесконечно чистое видение за все 1900 лет! 1900 лет — сколько воспоминаний... О, моя голова разрывается под их ужасным прибоем! Вы слышите свирепый вой урагана? Это мои воспоминания.

Радуйся, Царь иудейский!  
Князь не от мира сего!  
Исторгший копьё из рук мира!  
Ты, рожденный в яслях!..

Кто это поет? Это поют мои воспоминания. Ага, вы меня узнали! Вы узнали священные буквы «S.P.Q.R.» на моем значке? Да! Я римский легионер. Я копьё мира.

Исторгший копьё из рук мира!

Но вы зовете меня жалким безумцем. За что? Почему? Впрочем, я не оспариваю вас. Я был таким же человеком, как и вы, и не сидел, как сижу теперь, в этой проклятой келье. У меня были дети, жена, мать. Но в ту минуту, как я внезапно вспомнил все ужасы прожитых мною 1900 лет, — в ту минуту, быть может, мой мозг затмился. И это мешает ясности моих воспоминаний. Но все же самые ужасные моменты вырисовываются в моей памяти с удивительной выпуклостью! Хотите, я расскажу вам кое-что? Но кто же такой я? Чем я был до того момента, в который я возродил-

ся, под наплывом воспоминаний, в римского legionera? Слушайте, слушайте!

-----

По происхождению, со стороны отца, я — русский. Но моя бабушка со стороны матери принадлежала к древнейшей итальянской фамилии, впрочем, совершенно обрусевшей. Мы все знали об этом. И мы все знали о том, что среди многочисленных членов этой древней фамилии иные были рождены с красным пятном на горле, несколько ниже и левее кадыка. Клеймились этим ужасным клеймом цвета запекшейся крови только мальчики, и притом один из каждого поколения. И судьба всех этих клейменных всегда была совершенно одинакова. Они кончали су-ма-сше-стви-ем.

Религиозным сумасшествием. Почему сумасшествием? Почему религиозным? Может быть, и их мозг не выдерживал свирепого прибора воспоминаний?

Я родился с таким же точно пятном на горле. Можете себе представить, как чувствовала себя моя мать, увидев проклятое клеймо на моей тоненькой шейке? А моя жена? А я? Когда мы случайно узнали об этом, читая вместе дневник бабушки?

Я был всегда несколько нервозен, угрюм, нелюдим, а прочитав ужасные строки дневника, я совершенно замкнулся в самого себя. Так улитка запирается в свою скорлупу, чувствуя приближение врага. Весь образ моей жизни изменился.

Почему сумасшествием? Почему религиозным? Эти два вопроса вечно ходили за мной по пятам, как два выходца с того света, длинные, длинные, упираясь головою в небо. А по ночам они стояли у моей постели, как часовые!

А-а, что это были за муки!

Часто, расстегнув перед зеркалом ворот, я стоял неподвижно по несколько часов сряду, разглядывая мое клеймо. Я пытался разгадать загадку. Я думал. На что оно похоже? Откуда оно? И вот однажды, когда я стоял вот именно в та-

кой позе перед зеркалом, меня внезапно точно что кольнуло. Я сообразил. Это пятно — не пятно. Это рана, смертельная рана. Это удар копья! Какого копья? Зачем? Я чуть не вскрикнул. Завеса упала с моих глаз. Воспоминания хлынули в мою голову, как волны, разрушившие плотину.

Стены дома с треском взметнулись вверх, и меня ослепил свет. Я понял все.

Это не пятно. Это удар копья. Я ударил себя копьем сам. А перед этим я сломил о мое колено его древко, как ненужное. Да! А раньше, что было раньше? Раньше я бежал и кричал. Да, да, да! Я это хорошо помню! Что кричал? Внезапно я со всех ног бросился туда, вниз, в комнаты жены, и громко кричал, как тогда:

— Он воскрес! Он воскрес!

И за это меня привели сюда. Они не поверили мне. Они не поверили, что я видел Воскресшего, Его — рожденного в яслях. А я видел Его, я видел чистейшую слезу, перед которой все 1900 лет всемирной истории — позор и ужас. Отчего же вы не хотите верить мне? Я видел Его, видел, видел! И я уже тогда предчувствовал, что мне не увидеть вовеки более Чистейшего Источника, более святейшей слезы, хоть бы мне было предназначено прожить миллиарды лет. И поэтому я заколол себя в ту ночь. И, может быть, мне воистину предназначено прожить миллиарды лет, чтоб время от времени громко свидетельствовать миру:

— Более Чистейшего Источника нет и не было, и не будет!

-----

Впрочем, как произошло все это? Когда я увидел Его впервые? Где? Я был римским легионером. Это так. А потом? Позвольте, позвольте! Дайте мне несколько сосредоточиться. Вот так. Слушайте же меня!

Мы шли глубокой долиной Кедрона. Было жарко, солнце низвергало на нас целые потоки зноя, и, беседуя по дороге, мы старались попадать в тень маслин. Задумчиво я

глядел вперед. Ворота города были уже недалеко, и золотые плиты храма резко сверкали в наши глаза. Мы беседовали. Бронзовый от загара фракиец говорил мне о Нем, рожденном в яслях. Фракиец говорил, что Он пришел исторгнуть копьё из рук мира. Он описывал мне Его наружность и утверждал, что с Его лица льется свет святой скорби и кротости. Он называл Его — Истиной. Я и прежде слышал о Нем и о Его чудесах, и теперь мое сердце охватывало непонятное волнение. Я думал. Каким образом Он вырвет копьё из рук мира? Ужели Он сильнее цезаря? Как можно победить зло кротостью? Ведь это невозможно, невозможно! Кротость жертвы всегда лишь удесятеряет ярость борца. Как воин, я хорошо знал об этом. И я бодро нес теперь мой значок, сознавая исполинскую силу этого оружия. Я верил только в его ужасную силу. И вдруг фракиец толкнул меня в плечо. Кажется, он прошептал мне: «Он!» Я всколыхнулся. Из ворот города, навстречу к нам, быстро подвигались люди. Я взглянул туда. И я сразу признал среди них Его — Царя Кротости. Он шел, точно не касаясь земли, и что-то говорил окружающим Его, и те жадно глядели на ступни Его ног. Он был в длинной рубахе без швов, в коротком коричневом плаще. Волны Его волос, цвета ореха, были покрыты у темени белой шапочкой. Я глядел на Него в смутении. И внезапно мое сердце наполнила злоба. Можно ли покорить силу бессилием? Я гордо поднял мой значок с изображением орла и священных букв «S.P.Q.R» как символ действительной силы, и притом мне хотелось оскорбить этого пророка, как иудея. Злая улыбка дергала мои губы. Он прошел мимо меня и мельком оглядел и меня, и мой значок; Он точно принял вызов. Лучи святой скорби и кротости облили меня с головы до ног. Моя рука заколебалась. Я выронил мой значок. Но я не дал, однако, священным буквам коснуться праха и подхватил мой значок на пол-локтя от земли. Между тем, Он удалялся. Фракиец с вспыхнувшим лицом в диком восторге глядел Ему вслед, и, бешено потрясая копьем, громко кричал:

— Здравствуй, Царь истины!

Он не оборачивался. Кто же Он, однако, если один мимолетный взгляд Его глаз повергает орды цезаря?  
Я стоял, потрясенный.

-----

Была ночь. Я знал, что Его схватят, чтобы предать суду. Но позволит ли Он? Вот вопрос. Ведь Он силен, этот чудотворец, исцеливший дочь сотника Иаира. Я ждал в эту ночь чудес и бродил по узким улицам темного города в странном смятении.

Я точно поджидал чего-то. Когда я проходил мимо одного дома, я увидел людей, сопровождавших Его тогда, в момент первой моей встречи с Ним. Но Его не было уже среди них. Они выходили из дому и скорбно пели:

Сильно толкнули меня, чтоб я упал,  
Но Господь поддержал меня.  
Господь сила моя и песнь!

Господь — сила! И Его они называют Господом. Ясно, что воинство ангелов придет к Нему на помощь и не даст одолеть злу Его святой кротости. Я ждал чудес. Но чудес не произошло.

Я видел, как Его провели связанного во двор Каиафы. И великий храм Отца Его безмолвствовал. Гроздя золотого винограда на его мраморных столбах оставались неподвижны. Ни одна звезда не шевельнулась в небе. А Его били палками, как последнего разбойника, в этом дворе Каиафы! Из-за спин яростно кричавших людей, среди дыма костров и гула, я жадно следил за Ним, завернувшись в плащ. Ни единый укор не вырвался из Его уст. Мое сердце переполнилось злобой. Внезапно я ринулся к Нему сквозь толпу. Я говорил Ему, что надо призвать с неба хоть одного ангела в свою защиту. О, тогда бы и я обнажил во имя Его мой меч. И я был готов вырезать этим мечом полмира, чтобы

уберечь Его, как лучший цвет неба. Я кричал Ему: «Зови же ангела! Ведь Ты можешь, можешь!»

Он не отвечал мне ни звуком. Он хочет так.

Холодный рассвет подул мне в лицо. А утром Его поволокли с веревкой на шее по мосту через долину Тарпеон ко дворцу Ирода-Антипы. Толпа ревела. Его кротость удесятеряла ярость народа. Я вернулся к себе, качаясь на ногах. Кто-то дал мне горсть изюма и фиников. Я жадно съел все и тотчас же уснул, повалившись на пол.

-----

Весь тот ужасный путь от дворца Пилата до лобообразного холма я помню словно в тумане.

— Готовь крест! — этот крик, ударивший меня по сердцу ударом меча, делает мои воспоминания ясными. — Готовь крест!

Толпа взвыла и отхлынула от подножья холма, как взбешенное море. Его схватили за плечи и распластали на этом несуразном и тяжелом кресте, наскоро сколоченном из сикоморы. Он не сопротивлялся. Нет, больше того: Он молился за них. Однако, что же это такое? Что же сломит Его кротость? Ужели ей нет предела?

Кто-то сунул в мои руки молот и гвоздь. Я медлил, но Он Сам протянул мне Свою руку. Гвоздь жег мою ладонь; я все еще медлил. Горячий туман наполнял мою голову. И вдруг я весь подался к Нему и зашептал дрогнувшими губами. Я вновь говорил Ему. Пусть же он позовет на помощь хоть одного ангела, и тогда мы вырежем, растопчем, рассеем весь этот жестокий сброд, чтоб сохранить Его, как Царя Царей. Я ждал в напряжении. Он молчал. За моей спиной кто-то дико крикнул:

— Да что ж ты, собака!

Я перевел дыхание. Он так хочет! В последний раз я шепнул Ему: «Зови же ангелов!» Ответа не последовало.

Я так высоко взмахнул моим молотком, что задел им шлем сзади стоявшего.

Гвоздь вошел в мое сердце.

Его губы шевельнулись. Он молился за меня. О-о, чья голова не разорвется от таких воспоминаний! Слегка покачиваясь, крест медленно приподнимался над лобообразной выпуклостью холма. Толпа вновь взвыла и вновь отхлынула от его подножья, как море под напором бури.

Небо запрыгало в моих глазах. Я упал.

-----

Сколько ночей я не спал, — одну? две? — я не помню. Но ту памятную ночь я провел без сна, скитаясь в диком смятении в саду у гробницы, где покоилось Его тело. Я прятался в тени гранат и, вдыхая горький запах лавр, я дрожал, как избитая собака. Мне припоминалось:

— Сильно толкнули меня, чтоб я упал...

И я прятался от этих слов, как от кнута. Часы сменялись часами. Ночь была свежая. Ветер порой рвал вершину сада, и сад содрогался в ужасе. И месяц в страхе зарывался в тучи, как робкий еж в опавшую листву леса.

-----

И вдруг сильный удар вихря с грохотом прошел по саду и, потрясши всю землю до основания, стих. Стража, стоявшая у гробницы, попадала в ужасе. И тучи, стоявшие в небе, как орды варваров, разорвались на две половины и шарахнулись в обе стороны, как испуганные стада. Я лежал, извиваясь, как червь. И среди невозмутимой тишины и ослепительного света я увидел Воскресшего в красоте нетленной. Его тело светилось, как лунный свет. И я увидел в небе несметные легионы ангельского воинства, приветствовавшие Своего Небесного Цезаря. И светлый взор Воскресшего нашел меня, прятавшегося в кустах, и сказал мне:

— Радуйся!

И восторг пронизал сердце мое, как свет пронизывает тьму.

Внезапно я побежал туда, к спавшему в тумане городу, и громко кричал:

— Он воскрес, Он воскрес! И золотые плиты храма Его Отца резали мои глаза ослепительным светом и радостью. В моих глазах все прыгало.

И в диком безумии я сломал о колено древко моего копья, как ненужное, и вонзил его лезвие в мое горло, чтобы не жить более. Вот все, что я помню.

А теперь я хочу пропеть вам мою любимую песенку:

Радуйся, Царь Иудейский,  
Князь не от мира сего!  
Исторгший копье из рук мира!  
Ты, рожденный в яслях,  
Битый, как последний разбойник,  
Во дворах Каиафы и Ирода!  
Умерший на кресте  
И воскресший в красоте нетленной!  
Радуйся, Царь Иудейский!

## РАЗБОЙНИК ИЗМЕРАЙ

Когда они проходили широким и гулким коридором этой лечебницы для душевнобольных, старый доктор, указывая на одну из дверей, проговорил своему гостю, юному мичману:

— Вот в этой комнатке содержится один из любопытнейших моих пациентов...

— Кто такой? — спросил мичман.

Доктор ответил:

— Разбойник Измерай!

— То есть? — мичман, видимо, ничего не понял из ответа доктора.

— То есть, больной называет себя разбойником Измераем, распятым вместе с Христом по правую Его сторону и не раскаявшимся до самой смерти. Любопытно? Хотите взглянуть?

— О, еще бы! — воскликнул мичман.

— Но сперва краткую биографию больного? Да?

— Всеконечно!

Они — и доктор, и его гость — сели тут же в коридоре на деревянный диванчик. Доктор протер очки и опять задумчиво выговорил:

— Разбойник Измерай...

— Странно, — повторял мичман.

— Родом перс из окрестностей Баку, — продолжал доктор также задумчиво, — по первоначальной религии огнепоклонник. На шестнадцатом году по собственному желанию принял христианство и при крещении выбрал имя Демьяна, что значит «упорствующий»...

— Затем?

— Поступил вольноопределяющимся в армейский пехотный полк и ушел на войну к твердыням Карса...

— Это было в русско-турецкую войну?

— Ну да. Во время войны получил чины вплоть до поручика. Золотое оружие. Владимира с бантом. И офицер-

ского Георгия. Отличался беззаветной отвагой и зверской жестокостью по отношению к разбойничавшим башибузукам. Поймав однажды осквернителей армянского храма, хотел было сжечь их живыми и уже обложил для того просяной соломой. Но был во время остановлен, к счастью, начальником отряда. Был заподозрен товарищами в изнасиловании курдской девушки. Но в самое пекло боя всегда лез с безумной храбростью, пренебрегая всякими предосторожностями, увлекая за собой солдат львиной отвагой.

— Его теперешнее звание и имя? — спросил мичман.

— Поручик запаса Демьян Петрович Нуралимбек. После войны он вскоре же ушел в запас и открыл фруктовую торговлю в одном из поволжских городов, — продолжал доктор. — И стал усиленно читать Евангелие, которого совершенно не знал, несмотря на принятие христианства. Стал читать все, что касалось Христа. В одной переведенной с английского языка книге он как-то вычитал, что имя не показавшегося разбойника, распятого вместе с Христом, было Измерай. Как оказывается, то же самое имя носил и он, когда был еще огнепоклонником... Странно! Все-таки это странно! — вдруг воскликнул доктор взволнованно.

Мичман оглядел доктора с недоумением, так изменилось внезапно его лицо.

— Дальше, — попросил он его с участием, тронув за локоть.

Тот продолжал:

— Тут же поручик запаса Нуралимбек, распродав лавку, ушел в монастырь. Но через полгода тайно бежал оттуда. Поступил братом милосердия в холерный барак и, вследствие той же своей неустрашимой отваги, заболел холерой. Но перенес болезнь до удивления легко. Затем поступил смотрителем на мыловаренный завод и во время случившегося на заводе пожара вошел в охваченное пламенем здание, чтоб спасти задыхавшуюся в дыму... кого вы думаете? Кошку! Кошку он спас, но сам получил тяжкие ожоги плеч...

— Затем?

— Затем он заболел психическим недугом. Дело в том, что однажды в Страстную пятницу на ладонях его рук и на ступнях ног появились странного вида лишай, похожие по виду на зарубцевавшиеся язвы... как бы след от пробития гвоздями... Странно, не правда ли, странно? — воскликнул опять доктор.

— И что же? — шепотом спросил его мичман.

— И он стал воображать себя...

— Разбойником Измераем?

— Ну да! — воскликнул доктор с горячностью.

И замолк в странном волнении.

Мичман напомнил ему:

— Можно взглянуть на больного?

— О, пожалуйста, пожалуйста, — заторопился тот. И предупредительно добавил: — Только при разговоре с ним называйте его не иначе, как Измераем...

— Хорошо, — согласился его собеседник.

Когда они вошли затем к больному в комнату, тот суетливо сидел за столом и читал Евангелие. При их входе он, однако, встал и, повернувшись к ним лицом, приветливо поклонился с такой доброй улыбкой.

— Вы меня теперь не боитесь, — выговорил он. — Я теперь не страшный; я ведь, покался перед Ним. Перед Иисусом, — пояснил он прямо-таки с трогательной улыбкой.

Мичман в упор глядел на него. Это был человек богатырского сложения, с черными глазами, с черными, как смоль, и жесткими волосами, в которых уже пробивалась седина.

— Сколько ему лет? — спросил мичман доктора шепотом.

Но больной ответил за него:

— Со дня моего вторичного рождения прошло уже 52 года. Вот уже сколько! — добродушно улыбнулся он.

— Измерай, — попросил его доктор, — покажите гостю ваши руки.

Он ласково протянул гостю обе свои ладони. И тот увидел с ясностью две зарубцевавшиеся язвы, как бы когда-то пробитые гвоздями.

Мичману стало страшно. По коже холодная дрожь прошла.

— Вы разбойник Измерай, распятый вместе с Христом на Голгофе? — спросил он больного, почему-то бледнея.

— Ну да, — ответил тот совсем просто.

— Вы хорошо помните этот день Голгофы? — снова спросил мичман.

— О, да! Очень хорошо!

— А вы помните бой при взятии Карса, в котором вы участвовали?

— Нет. Об этом я уже забыл. Ведь это же произойдет, вероятно, много позже, — добавил он загадочно.

— А наружность Христа вы помните? — воскликнул мичман.

— Я вижу Его, как сейчас.

— Вы вместе пришли на Голгофу?

— Нет, мы были уже там и стояли возле своих крестов, когда, наконец, привели Его.

— Вы говорите «мы», кто это были «мы»?

— Я, Измерай, и другой осужденный, Амврий.

— Это имя второго разбойника?

— Да, — проговорил он, как о добром знакомом.

— Расскажите мне что-нибудь о наружности Христа,

— Он среднего роста, тонкий. С золотистыми выющимися волосами. С темно-синими глазами, дивной красоты...

— Как он был одет?

— В белую рубашку без швов. И коричневый плащ. — Больной говорил твердо, с уверенностью, точно прибывая слова.

— Он был измучен?

— Но держался, как царь. Свободно, просто и красиво.

— И все-таки Его лицо носило следы побоев?

— Очень! Видимо, римские legionеры били его бичами со свинцовыми наконечниками. Все Его лицо было испещрено синяками.

— А вас legionеры били перед казнью?

— На Голгофе нет. А я помню только Голгофу...

Мичман спросил:

— А не встречали ли вы когда-нибудь в жизни поручика Демьяна Петровича Нуралимбека?

По лицу больного прошло будто темное облако. Видимо, он делал сильнейшие усилия, напрягая память. Его лицо, опущенное черной бородкой, порой словно содрогалось от этих усилий.

— Нет, — наконец ответил он со вздохом, — с таким человеком мне не приходилось встречаться. Ни разу!

— Вы знаете, что вы больны? — задал ему снова внезапный вопрос мичман, точно желая сразить его этой внезапностью.

Он как будто смутился, но тотчас же оправился и ответил:

— Знаю. У меня порою мутится разум. И по этому поводу у меня с доктором даже происходят иногда споры...

Он улыбнулся.

— Споры о чем? — осведомился мичман, опять бледнея.

— Я утверждаю, что я заболел после того, как вспомнил Голгофу.

— А доктор?

— А доктор настаивает, что я вспомнил Голгофу после того, как заболел... А в этом большая разница, не правда ли?

— Теперь я уже не настаиваю на этом, — вдруг задумчиво уронил доктор. — Теперь я и сам не знаю, где правда.

Больной вдруг выговорил:

— А теперь я попросил бы и вас, — кивнул он мичману, — и доктора оставить меня одного...

— Вам нужно сейчас молиться Богу, Измерай? — спросил доктор.

Тот сурово произнес:

— Ну да, ну да! Нужно же замолить мне мои богохульства над Христом Спасителем в часы Его мук! Ну да! Ну да!

Доктор и мичман поспешно вышли.

Дверь едва затворилась за ними, как до них долетел то-скливый вой больного:

— Иисус, сын Бога живого! Смилуйся надо мною ради милосердия Твоего! Иисус, Иисус! Сын Божий!

Доктор болезненно поморщился.

— Идемте отсюда, — сказал он своему гостю, — сейчас Измерай будет плакать и выть, как подстреленный волк! Это будет ужасно!

— Замкни его на ключ, — кивнул он сторожу на комнату, где уже зазвучал, как труба, плач Измерая, медленный и гулкий.

Мичман спросил доктора:

— В самом деле, откуда у больного эти лишаи на ладонях и на ступнях ног?

— Откуда? Вызваны, вероятно, напряженной работой его воображения. А, может быть...

— Что может быть?

— Может быть, он и впрямь был ранее Измераем!

— Доктор, что вы говорите!

— А что же? Разве мы много знаем о человеке? Кто он? Откуда? Куда он идет? Разве все эти вопросы до глубины освещены наукой? О, это еще когда-то будет!

— Как же вы его лечите, в таком случае? Измерая?

— Очень просто. Пытаюсь убить в нем память прошлого и воскресить память настоящего. Затуманить в нем Измерая и восстановить Нуралимбека! — воскликнул доктор.

И они расстались. Мичман более не встречался ни с доктором, ни с Измераем... Где-то сейчас он?

Жив ли еще?

## МАРК БЕШЕНЬИЙ

Профессор-психиатр вместе со своим ассистентом долго и внимательно оглядывали больного — черноглазого, черно-волосого и смутлого юношу. А потом профессор обратился с вопросами к его родителям, совершенно простым по виду людям, которые стояли тут же, в кабинете профессора, в скорбных позах.

— Вы русский?

— Русский. Я простой рыбак из Овидиополя. Неграмотный. Мне 46 лет. Жене — сорок. Сыну Марку двадцать два исполнилось осенью.

— Сына вашего, вот этого самого, зовут Марком?

— Да. Он у нас один. Марк.

— А вас как зовут?

— Меня зовут Федор Румынов.

— Почему Румынов? — поинтересовался профессор, вдруг оживившись, точно находя какую-то нить.

Рыбак пожал плечами.

— Да мой дед был румын, родом из Бендер. Хотя уже очень обрусевший румын.

Профессор и ассистент переглянулись.

— Странно, — прошептал ассистент.

— А ваш сын Марк грамотен? — опять спросил рыбака профессор.

— Чуть-чуть умеет читать и писать.

— По-русски?

— Только по-русски. Он обучался в школе один год.

— А по-латыни он никогда не учился?

— Никогда в жизни.

— И по-румынски он тоже не умеет ни говорить, ни читать?

— Тоже. Да и мой отец не знал уже по-румынски. Не знаю и я.

Профессор повернулся к Марку.

— Подойдите сюда поближе.

Тот подошел. Сухо и резко блеснули его черные выпуклые глаза.

— Не переведете ли вы мне латинского выражения: *terra incognita*? — спросил профессор мягко и ласково..

— Неведомая земля, — сразу же ответил Марк.

Губы его дрогнули, и ярче вспыхнули глаза.

— А что такое римляне называли словом *hasta*? — вновь спросил профессор.

— Длинное копьё.

— А *gladius*?

— Короткий меч.

— Кто вы такой? — громко спросил ассистент.

— Я уже говорил вам, — ответил больной, — вы не верите. Я — римский центурион Маркус-Фуриус-Фуриозус. По-русски: Марк-Фурий-Бешеный. Тот, кто первый вбил гвоздь в правую руку Христа Спасителя.

Марк замолк и понурился. Как-то осунулось сразу его смуглое лицо и нервно заморгало.

Его мать вскрикнула:

— Ты — сын наш, рыбак из Овидиополя! Побойся Бога! Ты сошел с ума! Бедненький мой, бедненький! Какой ты римлянин! Ты — сын мой, рыбак Марко!

Она заплакала. Марк пожал плечами.

— Я тот, кем называю себя. Я — Марк-Фурий-Бешеный, римский центурион, — повторил он, повышая голос, гордо выпрямляясь, как орел, окидывая всех надменным взглядом.

— Кто управлял Палестиной в то время, когда вы были центурионом? — спросил ассистент.

Марк усмехнулся.

— А вы не знаете этого? — спросил он. — Ну конечно же, прокуратор Понтий Пилат.

— Где он жил?

— Как где? В Кесарии. А перед Пасхой он переехал тогда в Иерусалим... В тот памятный год...

— Марк-Фурий-Фуриозус, расскажите нам все, что вы видели тогда, — проговорил мягко профессор, приготовляясь слушать.

Глаза Марка сразу потухли, и зеленой бледностью покрылись его щеки. Некоторое время он не мог произнести ни единого слова. Жуткое волнение, видимо, охватывало его, сковывая язык.

— Вот как это было, — наконец, выговорил он сухо. — Пилат, как говорили, боялся возмущения на Пасху и вызвал к себе во дворец меня, с тремя кватернионами...

— Что значит кватернион?

— Стража из четырех воинов.

Профессор и ассистент снова переглянулись.

— Удивительно, — прошептал ассистент.

— Я был во дворе дворца, — продолжал Марк.

Но профессор вновь перебил его.

— Скажите нам, пожалуйста, где был расположен этот дворец и каков был вид его? — мягко спросил он.

Губы Марка с презрительной надменностью улыбнулись. Он чувствовал, что ему все еще не доверяют, и это раздражало его, видимо.

— Дворец этот, — тем не менее, отвечал он, стараясь быть спокойным, — был расположен в верхней части города, к юго-западу от Храмовой горы. Между двумя дворцами из белого мрамора, из которых один назывался Кесареум, а другой — Аргипеум, находилось открытое пространство, откуда открывался вид на весь Иерусалим. Это пространство было вымощено богатой мозаикой и украшено великолепными фонтанами, которые чередовались с аллеями. Тут же вздымались колонны из разноцветного мрамора и скульптурные портики...

Ассистент на ухо и по-французски спросил профессора:

— Вы прочли описание этого дворца у Иосифа Флавия? Этот рыбак из Овидиополя говорит так, точно он был всегдаем этого дворца. — Глаза ассистента вспыхнули.

— Когда привели к Пилату Христа, — между тем, продолжал Марк, — я не знаю. Мы, воины, не интересовались ни политикой, ни философией и в тени колонн играли в кости. Мне не везло. А тут Пилат отдал приказание приготовить крест...

— К вам именно обратился Пилат с этим приказанием?  
— спросил профессор.

— Да, ко мне.

— Вы помните подлинные слова его?

— Да, помню. Пилат сказал: «I, miles, expedi cruceм!»

— Переведите по-русски.

— Иди, воин, приготовь крест, — выговорил Марк твердо.

— Удивительно, — опять вздохнул ассистент и покачал головой, — до чрезвычайности удивительно...

Как будто его начинала охватывать жуть. Он нервно и зябко стал потирать руки.

— Я передал приказание Пилата другому центуриону, Каю-Ксенофонт-Папаверу, — между тем, продолжал Марк, — полуримлянину, полуэллину, подошедшему еще с тремя кватернионами ввиду того, что у дворца Пилата собиралась тысячная толпа. А сам пошел играть в кости. Мне хотелось отыграться хоть сколько-нибудь. Но вскоре уже я получил приказ Пилата идти за город, на лобное место, и привести в исполнение смертный приговор над тремя осужденными. Я захватил кватернион и тотчас же отправился. Когда я пришел туда, там уже лежали на земле три креста. Один побольше и два поменьше. Стояли трое осужденных. И толпились любопытные. Много было женщин с покрасневшими от слез глазами. Я распорядился, чтобы воины потеснили зевак, и те отодвинули их древками копий. В тот момент у одной женщины подкосились ноги, и она с плачем упала на землю. Я подошел к ней, бережно поднял ее с земли и отвел в сторону.

— Казнят кого-нибудь из близких тебе? — спросил я ее.  
— Закону надо подчиняться. Что делать? Закон всегда должен быть исполнен.

Но она не ответила мне ни звуком. Тогда двое воинов схватили за локти одного из осужденных и положили его на самый длинный крест. Один из воинов взял молоток и гвоздь и высоко замахнулся, чтобы прибить правую ладонь Осужденного к поперечной перекладине креста. И вдруг повалился на землю....

— Почему? — спросил, затаив дыхание, ассистент.

— Его поразили солнечный удар, — строго и даже с гневом проговорил тот, кто называл себя Марком Бешеным. — Было очень жарко, — пояснил он затем уже более спокойно. — Тогда я заступил его место, взял молоток и гвоздь и одним ударом прибил правую ладонь Распластанного на кресте. Но тоже тотчас же упал наземь.

— Отчего? — спросил профессор тихо и скорбно, тоже как будто начиная зябнуть.

— Меня поразила красота глаз Осужденного, — потупясь и едва слышно проговорил Марк. — Их необычная ясность и кротость, удивительное выражение Его губ, самый тон Его голоса, когда Он сказал мне: «Не ведаешь, что творишь»...

Марк замолк и отвернулся. И по его внезапно задержавшимся плечам профессор и его ассистент поняли, что он плакал.

— Мы бредим? — спросил ассистент профессора.

Тот молчал. Ассистент пожал плечами.

Между тем, уже оправившись, Марк повернулся лицом к профессору и, как-то весь сгорбившись, продолжал:

— Когда я очнулся, на лобном месте уже вздымались три креста. Воины попросили у меня разрешения поделить между собой, согласно обычаю, одежды Осужденного. Я разрешил им это. Тогда воины разделили на четыре части Его верхний плащ, а об Его рубашке, сотканной без швов, метнули жребий. А потом все мы сели завтракать и пить вино, так как солнце достигло полдня, и мы ощущали голод, жажду и усталость. А затем мы опять играли в кости... Хорошо помню, к вечеру того же дня я шел мимо гробницы Давида. Как вдруг от стены отделилась какая-то тень и приблизилась ко мне. Я увидел близко-близко черные пылающие глаза и короткую черную жесткую, курчавую бороду. Незнакомец схватил меня за руку и гневно крикнул мне в лицо:

— Это ты гвоздем пробил правую руку Учителя? Ты? Знай же! Тысячу раз ты будешь умирать и тысячу раз возрождаться вновь к этой жизни, чтобы в слезах кровавых оплакивать каждый раз свой страшный грех... Ты слышишь?..

И, зарыдав, незнакомец пошел от меня прочь, а сопровождавший его юноша, которого я только что заметил, голубоглазый и белокурый, спросил меня:

— Ты знаешь, кто наложил на тебя наказание это, Марк центурион?

Я вызывающе ответил, придерживаясь за рукоятку меча:

— Нет, не знаю. Кто?

— Симон Ионин, прозванный Камнем, тот, кто скоро будет пасти овцы Его...

И юноша скрылся за углом. А я упал наземь, — вдруг закричал Марк с яростью, сразу и неожиданно исказившей все его лицо в одну страшную маску, в одну яростную судорогу, — и стал плакать и биться об острые камни... Я! Марк центурион! Стал биться... биться и кричать! Вот так... — приговаривал он, — вот так... вот этак... И выть, как взбесившийся пес!.. Я!.. Я!.. Центурион Марк Бешеный!..

Марк завыл и, упав на пол, забился, словно в конвульсиях. Его лицо сделалось багрово-красным, а на его губах появилась пена. Из рассеченной брови поползла кровь.

— У-у-у... — выл он, — у-у-у... — и бился еще яростнее.

Его родители заплакали, прикрывая глаза, скорбно вздрагивая. А профессор понял, что больного властно охватывает жестокий и буйный припадок, что он может сейчас раскроить себе череп о доски пола.

Он позвонил смотрителю и, когда тот вошел, коротко и тихо приказал:

— Четырех служителей и смиренную рубашку... Скорее...

## ЭТО ГИПНОЗ?

Рослый уфимский помещик рассказал мне нижеследующее:

— Старые пчелинцы, всю свою жизнь изжившие в лесу, почти в полнейшем уединении, как добровольные схимники, как какие-нибудь индусские факиры, всегда производили на меня впечатление людей, знающих то, о чем обыкновенные смертные даже и не подозревают.

Природа богата тайнами, и, очевидно, эти тайны разгадываются лучше при том огромном напряжении воли человека, какое только может дать полное уединение, жизнь в лесу, где-нибудь на берегу светлого источника, с глазу на глаз с природой, в долгих и задушевных беседах с нею.

Но пчелинец Сергей, живший на пчельнике моем в лесных дебрях Уфимской губернии, порою производил на меня прямо-таки жуткое впечатление.

Это был человек 52 лет от роду, тонкий и высокий мордвин, с молодости обрекший себя на уход за пчелами, на уединенную жизнь в лесу, оставшийся, вероятно, в силу этого холостяком. Его подбородок и губы были, кроме того, совершенно голы, как у скопца, а белокурые волосы на голове всегда до глянца умащены деревянным маслом. Но особенно поражали в нем его глаза. Белесовато-серые, они всегда оглядывали беседовавшего с ним человека холодно-насмешливым и высокомерным взглядом, презрительным, как плевок в лицо.

Спешу к этому добавить: одевался он всегда в белую холщевую рубаху, такие же порты и свежие липовые лапти, так вкусно пахнувшие свежим запахом леса.

Я всегда думал о нем:

«Этот Сергей — загадка. Шарада на двух ногах. Знак вопроса, обрядившийся в крестьянское платье!» И я не любил его. Пожалуй, даже побаивался. Подозревал в нем какого-то трагического фокусника, осведомленного хорошо в том, о чем лучше и не знать.

И как оказалось впоследствии, я был прав. Совершенно прав. Знак вопроса сдернул передо мной на мгновение маску.

Это произошло так.

Случилось, что мне пришлось заночевать в лесу, на пчельнике у Сергея, как раз в страстную субботу.

Приехал я к нему верхом и на одну минуту, чтоб свести счеты за треть года по продаже меда, лык и мочалы, ибо он заведовал всей этой отраслью моего лесного хозяйства. И я рассчитывал вернуться домой в усадьбу к вечернему чаю. Никак не позже. Но овражек, преграждавший мне путь к дому, пропустив меня к Сергею, неожиданно разбушевался ко времени моего обратного отъезда, внезапно из тихого и смирного ручейка превратясь в яростный Терек, из ручного ягненка перекинувшись в барса.

И... волей-неволей я вернулся к Сергею, побоявшись совершить рискованный путь ночью.

Тот встретил меня сердитый.

Его прозрачные глаза так и обдали меня целым водопадом самого обидного презрения.

— Почему домой не уехал? — спросил он меня. Он всем говорил «ты».

— Овражек не пустил. Слышишь: завыл, как бешеный. Проходу не дал... — с сожалением развел я руками.

— А ты все-таки попробовал бы, — холодно выговорил Сергей и вдруг с насмешливой улыбкой добавил: — Есть такие, которые умеющие люди...

— Какие люди?

— Которые воду умеют отводить!

— Как отводить воду?

— А так. Как топором ее перерубят. Вот как топором полено...

— Не говори вздора, — рассердился я.

Он сказал:

— А ты или позабыл о Моисее?

Он опять облил меня насмешкой и тихо, с лукавыми огоньками в белесых глазах прошептал:

— И о жрецах египетского фараона? Ты забыл?

Мы сидели на лесной поляне у пчельника. Вокруг дымились темные вешние сумерки, и от проснувшейся почвы веяло холодком. Сергей сидел в нескольких шагах от меня и, разговаривая со мною, быстро кружил, будто играя, тонкой осиновой палочкой.

— Те вод не отводили, — ответил я, чтоб сказать что-нибудь.

— Жрецы фараона? — догадался Сергей. — Ну да. Те жезл бросали, и он у них змеей извивался. Да?

— Да.

— Вот так? — внезапно спросил Сергей, и вдруг лукнул с этими словами свою палочку, бросая ее на поляну, — вот так?

Его палочка упала шагах в трех от меня меж иссохшей травы. И, была ли то игра сумерек, — но мне явственно показалось, что эта палочка вся судорожно извернулась меж травы, как проснувшаяся змея.

Мои щеки больно дрогнули от выражения ужаса. И Сергей, очевидно, заметил это. Поспешно подойдя к своей палке, он быстро поднял ее. Бережно, точно лаская, погладил. И сказал:

— Ты не думай, что думаешь: палочка жибленькая. Ежели умеючи бросить ее, она, конечно, может изогнуться опосле. Даже обязательно должна. Ежели умеючи...

Два странных серых луча медленно вышли из его глаз. И прикоснулись к моему мозгу, сердцу и глазам.

Он сел на свое прежнее место, повторяя:

— Даже обязательно должна повиноваться... Если в умных руках.

А я, весь поджигаемый каким-то особым любопытством, вдруг простонал помимо своей воли:

— Сергей... Пожалуйста... Еще...

— Пошутить с посошком? — спросил он меня. — Чтоб вроде совы?

И он бросил палочку прямо над собой, издав губами какой-то звук, похожий на звук птичьего полета.

И я увидел над его головой мелькнувшую сову.

— Жибленькая палочка-то, — снова пояснил Сергей, — может и на манер совы...

Мне стало холодно. Мои зубы чуть ли не застучали. Между тем, Сергей взмахнул над собой рукой, вновь ловя свой посошок, и грубо сказал мне:

— Ну, а теперь идем спать. В караулку. Пора! Пора!

Опять помимо своей воли я простонал:

— Сергей, покажи мне еще! Сергей!

Холод ходил вокруг меня, и два серых луча осторожно ощупывали мой мозг, словно напивтая его каким-то особым мучительно-сладким ядом.

— Сергей! Пожалуйста! Еще! — повторял я со своего пенька.

Сумерки дымились вокруг, и отдаленная стена леса что-то невнятно бормотала на своем непонятном языке.

— Пора спать, — упрямо твердил Сергей, — пора спать! Сейчас пора спать!

Но я прекрасно видел, что он отнюдь спать не хочет. Что он и сам томится весь больным и непреодолимым желанием показать мне нечто.

Нечто совсем уж сверхъестественное. И я даже догадывался об этом нечто. Нашупывал его своим мозгом, отравленным бесцветными лучами, похожими на призраки.

— Сергей, пожалуйста, — стонал я.

Он встал с пенька и подошел ко мне быстрым, неслышным шагом.

— Хочешь? — повелительно крикнул он мне. — Да?

— Да... — точно стонал я.

Лицо Сергея все содрогнулось. И, изгибаясь ко мне, он прошептал:

— Сейчас я могу показать только... Голгофу. Хочешь?

Не в силах вымолвить слова, я кивнул головой.

Сергея точно качнуло. Опять согнувшись ко мне, он просительно выговорил:

— Стань на колени...

— Так?

— И гляди туда. Вон на то облако...

— На то?

— Да. И держись за мою руку.

Плоские губы Сергея старчески шамкали, точно пережевывая жвачку.

— Так?

— Крепче!

Мы переговаривались шепотом, похожим на бормотанье леса. На шорох высохших листьев в глубоких просеках безлюдного леса.

— Крепче!

— Так?

— Еще крепче!

Сергей опустил рядом со мной на колени и что-то забормотал настойчиво и упорно, порой точно приказывая, порой точно умоляя кого-то в тоскливых слезах.

Я стоял рядом с ним на коленях, чувствуя шумное бие его сердца ладонью моей руки.

Так прошла минута. Может быть, две. Но не более.

Я не спускал глаз с облачка, медлительно колебавшегося над зубчатой стеной леса.

— Смотри! — услышал я вдруг повелительный голос Сергея.

Меня толкнуло пламенем. В самую грудь. Я весь колыхнулся и увидел... Я увидел...

Над облаком, потемневшим, как холм, в вспыхнувшем свете поднялись, дрогнув, три креста. И один из них, тот, что посредине, был выше других.

И те, что по бокам, были короче.

И я увидел медные шлемы воинов, суетливо бродивших вокруг, и синий огонь на остриях их копий, и головы теснившейся толпы, и развевавшиеся покрывала женщин...

Я стоял, точно окаменев, весь превратившись в зрение, с головой погружаясь в какой-то фантастический сон. А картина горела передо мной, как марево пустыни.

— Жено! — вдруг услышал я плачущий голос, полный такой нечеловеческой тоски.

Будто огонь опалил мое сердце.

— Жено, — се, сын Твой!.. — плакал голос.

В моих глазах все помутилось. Очнулся я только на следующий день. В избе пчелинца.

И сейчас же уехал домой, совсем больной и разбитый.

А Сергей? Сергей ушел с моего пчельника самовольно. На первый же день Пасхи. Куда? Об этом я ничего не знаю. Ничего!

## МОГЛО БЫТЬ

*Посвящаю Г. С. Петрову*

Этого не было, но это могло быть.

Он удалился на берег того озера, которое лежало такое тихое и прекрасное посреди великолепных пастбищ. На берег Галилейского озера. Он искал уединения и успокоения. Уединения — для мысли, успокоения — для души. Ему хотелось вновь продумать все то, что было прожито, и то, что надлежало еще прожить. До начала конца оставалось уже так недолго. Он сел на зеленый выступ, у самых вод, ласково омывавших золотой песок, и глубоко задумался. Волнистые волосы цвета спелого ореха низко свесились на высокий и чистый лоб. Сухощавые и загоревшие под солнцем пальцы крепко стиснули виски. Его голова склонилась на грудь, отягченная думами.

— Его дума о чем? — беспокойно зашептали цветы, как опечаленные дети.

— О чем? — спросила стая диких горлиц, с мягким свистом опускаясь на песок.

— О чем? — крикнули пеликаны, подстерегавшие в мелководном заливе добычу.

— Ему надо идти на Голгофу, — послышалось из жарких уст ветра.

Весь берег тихого озера как бы встрепенулся в одном беспокойном всплеске:

— О, Равви!

Бирюзовая волна тихо выплеснулась на берег, шипя по песку, подкралась к Его ногам и робко прикоснулась к ним. Он на минуту как бы пробудился от дум, будто вспомнив, что забыл поздороваться с ними, со всеми этими мирными окрестностями, полными такой наивной радости.

— Мир вам, — приветливо сказал Он небу, земле и озеру.

— Мир душе Твоей, Учитель, — отвечали небо, земля и озеро ясным шелестом.

А Он снова глубоко задумался, застыв в неподвижной позе. Было утро; прозрачное небо дышало зноем, но это огромное озеро, своим видом похожее на арфу, мешая свою прохладу со зноем неба, превращало воздух в какой-то божественный напиток, нежный и сладкий, как дыхание цветка. И он пил этот воздух, освежавший мысль и кровь сердца, и все думал и думал. Минуты быстро бежали за минутами, как дети, выпущенные на свободу. Со степенностью отрока, идущего в школу, шел за часом час, а Он не переменил своей позы. И все думал и думал. И зеленые проворные ящерицы с недоумением оглядывали Его склоненную фигуру. Вот одна взползла на ступню Его ноги и застыла на ремне обуви, как изумрудная пряжка. Он не шевельнулся, не отрываясь от дум.

Итак, итоги подводятся, и начало конца наступает. Когда это произойдет? Где? В Гефсиманском саду. Ночью. Да. Тут ученик подойдет к Нему и выдаст поцелуем. Что надо будет сказать ему?

— Не лобзанием ли предаешь Сына Человеческого?

И только. А потом? Из мрака ночи выдвинутся люди с факелами, мечами и копьями. Пылкий Петр выхватит меч, желая защищать Учителя. И чтобы остаться верным Себе, надо будет напомнить Петру:

— Вложи нож свой в его место!

И когда только Петр слышал от Него, что Он нуждается в услугах насилия? Он ищет добровольного соглашения с человеком. «Возлюби ближнего, как самого себя». Вот фундамент и кровля того здания, зодчим которого Он желает быть. А тогда при чем тут меч? А потом? Что свершится потом?

Он задумался, тоскливо сжимая виски. И Ему пригрезилось с поразительной ясностью. Вот Его влекут, влекут по шумным улицам с веревкой на шее. Зачем? За что? Он тихо дрогнул. Ему снова ясно пригрезилось: вот Его истязают бичами. Ременные змеи зловеще свистят над Его головой и с такой нестерпимой болью врезаются в тело. Таков

их ответ на доводы мысли. На минуту все в Нем вскипело. Он простонал:

— Отче мой, Отче мой, давай мне Твоего божественного духа, зачем Ты не дал Мне тела, не чувствительного к боли?

Но тут же Он нашел в себе мысль:

— Но тогда здесь не было бы жертвы любви. А ведь Он не только истина, но и любовь. Следовательно, надо подчиниться всему.

Врачуя немощь тела чистейшей мыслью, Он снова заснул в прежней позе. И опять перед Ним встала картина. Его возносят на крест, наскоро сколоченный из сикоморы. Нумидиец с коричневым лицом приставил к Его ступне железный гвоздь. Вот он широко взмахнул молотком, и будто огонь опалил Его тело под гоготанье тех, ради которых Он пришел добровольной жертвой. Он привстал с зеленой луговины, поверженный в неописуемые муки. Будто огонь пожирал Его тело, заглушая биения мысли. Что делать Ему? Ужели позвать пять тысяч ангелов, дабы они не выдавали Его тела на муки? Позвать их, эти небесные легионы? Он заглянул в небо, как бы ища ответа. Но оно лежало такое прозрачное к бесстрастное.

— Да будет во всем Твой свободный выбор, — словно сказало оно Ему.

Ему предоставлен во всем свободный выбор. Он может идти на муки и может избежать их. Но если тело не выдержит мучений, подчинится ли воинство ангелов Его воле? Он повел вокруг затуманенными очами и внезапно увидел: вот на одном из утесов рядом, вздымавшемся, как зеленый престол, иссеченный из драгоценнейшего изумруда, выросла фигура, могущественная и гордая, пышно облеченная в одежды царя ассирийского. И Учитель услышал:

— Это я пришел говорить с Тобой. Я — непримиримый враг Отца Твоего. Я — тот, которому имя...

— Сатана! — скорбно договорил за него Учитель, — и Ты мог бы умолчать о своем имени. Только зло и неправда одеваются с такой пышностью. Истина и любовь прекрасны сами собой и не нуждаются в украшениях.

Тот коротко и сухо рассмеялся, и золотые кисти его сапфирного пояса мелодично зазвенели, как песни малиновок.

— Ты прав, как и всегда, Учитель, — проговорил он, наконец. — Но дело не в этом. Дело в том, что я пришел к Тебе. Что делать! Когда небо молчит в ответ на твои муки, надо же заговорить хоть преисподней. Если любовь стала глуха, за нее попробует откликнуться зло. И вот я пришел к Тебе...

— Чтоб искушать Меня, как и тогда в пустыне. Хлебом? Властью? Чем еще?

Тот шевельнулся как огненное пятно зарева.

— О, нет, я не любитель повторять зады. И, кроме того, за эти три года со мной произошла некоторая неприятная перемена.

— Какая?

— Однажды в эти три года я застал себя за очень грустным занятием.

— Каким?

— Я любовался красотой души Твоей, о Сын Человеческий!

— Ты лжешь и издеваешься! — скорбно вырвалось из уст Учителя.

— О, если бы это было так, — со стоном проговорил тот, и испуганные пеликаны с шумом сорвались с своего места и пересели дальше. — Впрочем, спешу оговориться, — заговорил он через минуту снова, беспокойно сверкая пламенными очами, как двумя молниями. — Спешу оговориться. Истине Твоей я не поклонился, ибо я не верю ей. Я залюбовался лишь Тобой, как чистейшим образом. Как прекрасным лучом еще невиданного мною солнца.

— Но ты не веришь Мне, когда Я говорю: се сбудется все полностью от альфы до омеги?

— Да, не верю. Твои выводы неверны, ибо обо всем Ты судишь по Себе, а мир — не Ты. И Ты — не мир. Ты смотришь на дикого нумидийца, готовящего железные гвозди для Твоих ног, и думаешь: Я — это он. И он — это Я. Ты несешь ему царство любви, а он готовит Тебе железные

гвозди! Ужели Тебе еще не ясна Твоя ошибка?

— И что же Дальше? — спросил Учитель скорбно, не поднимая ресниц.

Они стояли друг против друга — оба на зеленых выступах, врезавшихся в опаловую грудь озера, обрамленного, как венком, цветущим кустарником олеандров. И они рисовывались в прозрачном воздухе как два непримиримых контраста. Один из них был безоблачный день. Другой — грозно ненастная ночь.

— Что же ты скажешь дальше? — повторил Учитель в глубокой задумчивости, переплетая свои слова как цветы.

Тот отвечал, будто выбрасывая молнии:

— На земле пет лавра, достойного Тебя, а Тебе готовят бичи и гвозди! Слушай! Если небо молчит, то я протестую против такой несправедливости! Я протестую! Я обещаю Тебе вот что...

— Что?

— Поддержку!

— Ты — Мне?

— Ты удивлен? — вскрикнул тот в пурпуровых одеждах, заколебавшись, как язык пламени. — Но я уже сказал Тебе. Была минута, когда я залюбовался цельностью Твоей красоты. И я хочу спасти Тебя от самого себя. Минуту назад Ты подумал: «А если позвать пять тысяч ангелов, дабы они не выдавали Моего тела на муки?»

— Это был минутный крик немощной плоти, а не духа!

— Это все равно. Не упрекать я пришел Тебя, а обещать к Твоим услугам всю мою власть.

— Какую?

— Обещаюсь и клянусь...

— Чем? Моей истиной?

— Моим неверием в мечту Твою и моим искренним благоговением перед Твоею красотой!

— Которую ты стараешься запятнать?

— Которую я желаю сберечь как зеницу ока!

Они переговаривались, как рев сокрушающего урагана и дыхание живительной прохлады. Как плеск освежающего дождя и грохот смертоносной лавины.

— Обещаюсь и клянусь, — повторил тот, сверкая драгоценными уборами, — вот по единому знаку Твоему я пошлю не пять тысяч робких ангелов, а миллионы миллионов моих слуг, беспощадных, как самум пустыни, да отстоят они Тебя, чтобы не выдавать тела Твоего на позор и пытки. И что устоит перед копьем и мечом моих несметных сил?

— А что ты потребуешь взамен?

— Ничего. Я желаю только сберечь Тебя, как лучший цветок вселенной.

— Но против кого Я направлю копьё и меч несметных сил твоих?

— Против тех, которые посягнут на Тебя!

Тот выбросил слова эти, как кипящую лаву, весь содрогаясь от беспредельного гнева. И будто ураган дохнул на тихую поверхность озера. Оно на минуту вскипело, но успокоилось вновь. Лицо Учителя оставалось светлым и безмятежным. Тот, еще содрогаясь, как тяжелое море под дыханием бури, сказал:

— Ты — прекрасный цветок, ошибкой выросший на дне безнадежной пропасти. И вот я хочу стать на страже перед Тобой с копьём и мечом моим. Да не упадет на Твою чистейшую голову ни один камень надвигающейся лавины! Пойми меня. Я тот, который никого никогда не любил. И вот я прошу у Тебя ныне: дай мне быть стражем у ног Твоих!

Учитель отвечал:

— А Я снова и снова скажу тебе: меч и копьё разрубают кости и тело, но не побеждают мысли. Мысль может быть побеждена лишь мыслью. Истинно говорю Тебе, Я — Царь мысли! И единый победитель ее!

— Но в их руках уже блещут приготовленные для Тебя гвозди.

— А в Моем сердце уже приготовлены для них любовь и прощение.

— Безумец! — воскликнул тот в муках и горе. — Вот я хорошо вижу: с веселой песней они уже плетут те бичи, которыми они будут истязать Твои неповинные плечи!

— Не ведают бо, что творят. Я в них, и они во Мне. Если бы они не ждали Меня так жадно, как Я мог бы прийти к ним?

И Он повторил ясно и с твердостью, будто переплетая благовонные цветы:

— Я в них, и они во Мне!

В бесконечной тоске тот воскликнул, словно выбросив сноп пламенных искр:

— И тот нумидиец с дрекольем и гвоздями в руках — он тоже в Тебе?

— Я сказал то, что сказал, — слышалось в ответ.

— О, Ты слишком добр для того, чтобы верно оценивать вещи!

— А ты слишком зол для того, чтобы хорошо предвидеть будущее.

— Я вижу все, что есть, и таковым, как оно есть, — воскликнул тот голосом, похожим на звон меча. — И если хочешь, можешь испытать мою дальнзоркость всем, чем хочешь! Слушай! Я прошу у Тебя испытания, как милости! — добавил он, как бы в мучительном сокрушении.

— Изволь, — проговорил Учитель. — Закрой на одно мгновение твои очи.

Две молнии потухли над изумрудным престолом, и тишина завороживала землю. Слышно было дыхание цветов:

— Тише! Сейчас даст свой последний ответ Учитель и Бог наш!

А Учитель подошел к кустарнику олеандра, усеянного бледно-розовыми цветами. И ветвь кустарника протянулась к руке Его. Он взял цветок, и тот остался в Его руке.

— Се не для Меня, а для неверующего, да будет и он верующим, — проговорил Учитель.

И, склонившись затем к песку, он что-то извлек из него в свои персты, сделав воронкообразную ямку.

Тот с закрытыми очами спросил Его:

— Ты ответишь мне как и всегда: притчей?

— О да, — ответил Учитель и добавил: — лови и испытывай свою дальнзоркость!

И Он бросил к зеленому престолу то, что было в руках Его.

Две молнии вновь блеснули над озером, но минуту все было тихо по-прежнему.

Тот со вниманием разглядывал на своей ладони брошенное Учителем, вдруг будто испугавшись возможности ошибки. Но затем он заговорил могучим рычанием пробуждающегося барса:

— Вот все, что я вижу на ладони моей без ошибки, так, как оно есть. Цветок олеандра, прекрасный и девственно чистый...

— И еще что?

— И еще что-то похожее на тлен, на кусок мертвого праха, на обломок бесплодной губки, высохшей до потери последней капли жизни!

— Хорошо ли ты разглядел то, о чем говоришь?

— Я вижу то, что есть. И я угадал Твою притчу. Девственно нежный цветок олеандра — это Ты. А кусок мертвой губки — тот нумидиец, который приготовил для Тебя би-чи и гвозди.

— Ты сказал все?

— Все, что есть!

— Слепорожденный! — воскликнул Учитель с горечью. — То, что ты принял за кусок мертвой губки, есть высохший корень того же олеандра. И какой же садовник, желающий взрастить цветы, вместо того, чтобы напоить дремлющий корень живой водой, станет крошить его безумным ножом?

И, повернувшись к озеру, он сказал:

— Озеро Галилейское, тебе говорю Я: напои жаждущего, дабы ему не томиться во тьме и смерти, а развернуться цветком ради осуществления правды!

И тихое озеро, дремавшее, как огромный опал, среди блеска и зноя, вдруг дрогнуло, толкнув волну. И волна тихо всползла на берег, шипя, наполнила воронкообразную ямку и мягко отпрянула вновь.

— Истинно говорю тебе, — воскликнул Учитель, обращаясь к одетому в багряницы, — завтра же здесь будут цветы, как и тот, который в руке твоей!

Из уст того вырвался стон, как камень, катящийся в пропасть:

— Всеблагий! Когда-то я требовал от Тебя поклонения. Но позволь ныне мне преклонить колена мои, лишь допусти стать сторожем у красоты Твоей, дабы ее не помяли камни уже ползущей лавины!

Но Учитель ответил властно, как и тогда, в пустыне:

— Отойди от Меня, сатана!

И тот исчез, взметнувшись с утеса темным вихрем.

И Учитель подошел к цветоносному кустарнику, чтобы в последний раз насладиться его нежным дыханием, оживлявшим мысль и кровь сердца. И кустарник сбросил к его ногам все цветы свои с шелестом, похожим на подавленное рыдание:

— Се — идущему на Голгофу!

И тогда небо и земля, цветы и озеро, все, что улавливал глаз и ощущало ухо, благодатно дрогнуло, как грудь, полная очистительных слез.

— Се жертва — Жертве!

— Любви — от любви!

И, приняв цветок, Он медленно двинулся в глубокой задумчивости. Чтобы идти в Гефсиманский сад. А затем на Голгофу и крест.

Пусть такого искушения не было. Но разве оно не могло быть?

## СТРАННАЯ РУКОПИСЬ

Старый археолог потерял зрение, разбираясь над этой рукописью, найденной при раскопках города, имя которого неведомо ни одной истории. Но в конце концов он разгадал ее странное содержание. Вот эта рукопись слово в слово.

«Я и мой дорогой ученик, мой молодой друг, вышли из дома ровно в полдень. Чернолицые рабы уже выводили со двора верблюда, навьюченного моими рукописями, моими научными препаратами, и стража дожидалась меня у дверей. Когда мой ученик увидел медные шлемы стражников, его лицо вновь омрачилось. Его скорбный взор внятно оказал мне:

— Тебя уведут сейчас, о мой учитель, и я никогда более не услышу звука твоего голоса! Никогда!

Он тяжело вздохнул, оглядев меня и стражников. Я презрительно пожал плечом. Этот город, где я родился и вырос, где я в продолжение долгих лет неустанно работал во светлое имя мысли, — этот город осудил меня сегодня утром на изгнание, на вечное изгнание.

Старейшины города осудили меня за жестокость.

За жестокость. Что такое жестокость? Все создано мыслью и все существует для нее одной. И кто же назовет жестоким виноградаря, срезывающего виноградные кисти, дабы приготовить из них наилучшее вино ?

Я много истреблял в моих лабораториях животных, неустанно трудясь во имя мысли, и вот причина моего обвинения в жестокости, вот причина моего осуждения на изгнание.

Между тем, в этих горьких размышлениях я стоял на открытой террасе, в последний раз оглядывая мой родной город, полный веселого шума. Был ясный день. Розовые купола храмов, подпертые колоннами из разноцветной яшмы, мягко и гордо светились в золотом полудне. Бронзовые пасти драконов извергали сверкающую влагу. На широких площадях шел говор, шумела жизнь, звучала песня.

Стройные фигуры лучших жен города то и дело переплетались веселыми гирляндами, звеня ожерельями, сверкая красотой и жизнью. А дальше, у каменной набережной, бирюзовая поверхность моря вся искрилась огнями, беспрерывно мигавшими, как всплески золотых рыб.

Я сказал:

— Все это создано мыслью и существует ради нее одной.

— Ради чего? Ради чего, учитель? — переспросил мой ученик.

Внезапно я вздрогнул.

Мое изощренное в наблюдениях обоняние уловило в соленом дыхании спокойного моря еще пока тонкую примесь удушливых газов. Город веселился, но уже от него как бы отделялся тяжкий запах разлагающегося трупа. Я содрогнулся от мысли, внезапно заглянувшей в мою голову. И тут так же внезапно я услышал будто отдаленное ворчание льва, запертого в преисподних. Этот звук был глух, едва уловим и не заключал в себе решительно ничего грозного, но, однако, та же придавливавшая мое сознание мысль вновь судорожно заглянула в мои глаза.

— Ты слышишь? — спросил я моего ученика беспокойно.

Тот отвечал:

— Слышу.

— Что слышишь?

— Слышу, как веселится город, празднуя твое изгнание, — сказал ученик уныло.

Я понял, что он ничего не слышал, ничего из того, что надлежало слышать. Это слышал только я один. Один из всего города, и этот город удалял меня в ссылку и праздновал этот первый день моей ссылки. Чем объяснить такое сцепление происшествий? Я задумался, оглядывая сверкающие под солнцем окрестности. Мучительная скорбь внезапно и тяжело всколыхнулась во мне, и мне захотелось крикнуть этому ликующему городу:

— Остановись! Прекрати твои ликования и выслушай меня!

Однако я не крикнул. За моей спиной я услышал в этот миг сердитое бряцанье доспехов моих стражников, и мое горло будто сдавила спазма, не желавшая выпустить из моих уст ни единого слова предостережения. К сцеплению предшествовавших происшествий, как видно, пожелаали присоединить еще одно новое— это сердитое бряцанье доспехов. Новое и такое же случайное. Впрочем, что такое случайность? Закон, еще не подтвержденный опытом?

Я сказал, обращаясь к стражникам:

— Исполните же повеление пославших вас ко мне и ведите меня скорее вон отсюда.

Доспехи брякнули; верблюд шагнул, неуклюже вытягивая шею. Сходя со ступеней террасы, я ответил ученику моему:

— Все создано мыслью и существует ради нее одной. Город обрекает меня на изгнание, не подозревая, что он исполняет этим лишь предназначение верховной мысли. Исполним же и мы ее божественное веление без ропота.

Чувства, волновавшие меня в ту минуту, когда я говорил, были неопределенны и смутны. Сколько суждено прожить городу, обрекавшему меня на ссылку, — я не знал наверное. Но зато я был уверен, что я переживу его, переживу хотя бы лишь на один день, дабы подвести итог всему происшедшему.

Мы вышли за город, и стража, совершив надо мною обряд отчуждения, покинула нас. Мы остались одни с моим учеником, пожелавшим проводить меня несколько, чтобы провести со мной последнюю ночь. Мы понуро двинулись в путь, уныло переговариваясь, в то время как до нас достигало еще звонкое ликование беспечного города. Мы подвигались вперед с чрезвычайной медленностью и вечером мы еще видели на горизонте розовые купола городских храмов.

Минуту посовещавшись, мы решились заночевать у темно-бурого ствола гигантской пальмы. Мой мозг болел и ныл, как натруженные ноги пешехода, и я не мог преодолеть желания поскорее расположиться на отдых. Когда властная рука ночи стерла затем все краски земли, мы зажгли от

диких зверей костер и утомленно легли возле узловатых корней пальмы. И тотчас же мы тяжко уснули. А потом мы вдруг оба сразу проснулись, будто подброшенные набежавшей волной, не веря своим чувствам и не отдавая отчета в своих движениях. Мы оба сразу поспешно вскочили на ноги, но высокая волна вновь набежала на нас, взбрасывая наши тела на свой изломанный хребет, низвергая нас в бездну и обдавая удушливым смрадом. И я видел сквозь тьму, как верблюд с ревом пал на колени, а пальма перепрыгнула через наши головы, выброшенная недрами земли, как натянутой тетивой лука. В то же время сердитый рев подземного чудовища, будто сорвавшегося с цепи, коснулся нашего слуха. И оглушительный грохот обрушившегося исполина внезапно потряс взбунтовавшиеся окрестности. Я понял все и крикнул:

— Город погиб!

И тотчас же я потерял сознание. Когда я очнулся, в окрестностях радостно мерцало золотое утро. Трава благоухала, и безоблачные небеса ясно улыбались, будто в эту ночь не произошло ничего необычайного. Спокойное небо словно говорило мне:

— Все, что происходит, — законно.

Я приподнялся и увидел моего ученика. Он стоял передо мной бледный и потрясенный и беспорядочно повторял:

— Учитель, что произошло? Что произошло, учитель?

Я обежал взором черту горизонта.

Что произошло? Розовых куполов уже не было более там, где раньше был город.

Я увидел вывороченную с корнем пальму и тоскливо подумал:

“Почему же ствол пальмы в своем диком прыжке не раздробил головы моей? Кто не захотел этого?”

Сердце мое сжалось. Внезапная мысль, что во всем том городе не уцелела ни единая жизнь, обожгла меня. Ни единая, ибо в противном случае была бы нарушена дикая целесообразность всего происшествия. Я крикнул:

— Город погиб!

Мы поспешно направились к несчастному городу.

И мы увидели, наконец, вместо веселого города лишь каменные груды развалин, беспорядочно навороченные друг на друга и судорожно шевелившийся еще от подземного гула, как серая чешуя исполинского и неуклюжего дракона. И вместо радостного шума беспечной жизни, мы услышали зловещий шелест этого чудовища, будто передвигавшегося к морю.

— Где люди? Где жизнь? Где прекрасные лица женщин?

Груды безобразного мусора — вот все, что осталось от города.

— Где город? — спросил я уныло.

И ясное небо ответило мне:

— Все, что совершается, — законно.

Мой ученик молчал. Обхватив руками голову, он в диком ужасе глядел на чудовище, шелестевшее осыпавшимся камеником.

— Учитель! — наконец, вскрикнул он, — где наши храмы и жрецы? Где наши семьи? Где судьи, осудившие тебя?

Я отвечал ему вопросом:

— Где?

Ученик дико вскрикнул и несуразными прыжками побежал к развалинам, кое-где дымившимся от движения камня. И по его резким телодвижениям я понял, что мысль выскочила из этой бедной головы, погрузив ее в кошмар.

Я направился следом за ним.

Два дня и две ночи мы бродили между развалин, как две тени, я и мой бедный друг, мой обезумевший ученик, занимаясь раскопками. Город погиб ночью, внезапно, во мгновение ока, застигнутый совершенно врасплох. И странную картину рисовали нам раскопки.

Мы находили жрецов-девственников убитыми в притонах разврата. Мы находили лучших жен лучших семей в объятиях продажных рабов. И мы находили судей, составивших ложные доносы.

И мы видели мерзость, ей же нет названия.

Взирая на все это, мой обезумевший ученик восклицал:

— Лицемерие! Лицемерие!

И он назвал случившееся “Великим обличением”.

А я говорил ему:

— Лицемерие. Что такое лицемерие? Какой глупец ставит величайшие произведения искусства на задворках, а мусорные ямы на людных площадях? Все создано мыслью и существует ради нее одной. Все, что совершается, — законо!

А потом погиб и мой безумный ученик, провалившийся в душную трещину. Остался я один да та мысль, которой я служил всю мою жизнь. Уцелели лишь мы из всего города. Ради чего?

Еще два дня я сидел на камне в глубочайшем размышлении, и теперь я записываю слова эти ночью, при свете непрерывных молний, под злое шипенье возящихся развалин. Теперь мне понятно все, и я спешу поведать об этом. Слушайте.

Меня осудили за жестокость, а их истребили всех, во множестве тысяч, ибо движение мысли важнее всего существующего. И они все жили и существовали только для того, чтобы я, единый оставшийся в живых, сделал из всего происшедшего законный и справедливый вывод.

И я сделал его; и я пишу сейчас об этом ночью, при свете падающих молний, вытачивая на камне слово за словом острым клинком сломанного меча.

Слушайте! Все создало мыслью и существует ради нее одной. В мире нет ни лицемерия, ни искренности, ни жестокости, ни сострадания. Поступательное движение мысли — вот ход всего существующего. И то, что обязательно для одного поколения, необязательно для последующего, ибо и ошибка есть знание.

Все изменяется, и все необходимо. Однако, каково же содержание этой мысли? Каково лицо этой гордой красавицы, не желающей показать нам своих божественных черт? Назвать ли ее имя? Впрочем, позволят ли мне сделать это? Мое сердце дрожит в священном трепете, и клинок меча бессильно звякает о плиты камня. Мой разум шепчет мне, что существующему нужны не только оба конечных кольца цепи, но и каждое мельчайшее звено ее. И я весь холо-

дею, не решаясь переступить заповедной черты. Однако, во имя справедливости, решаюсь переступить ее.

Имя этой красавицы...»

На этом рукопись обрывается. Старый археолог говорил мне, что слова, очевидно, выцарапанные действительно клинком меча на гладкой плите камня, в этом месте как бы расплавлены ожогом внезапно упавшей молнии. В то же время археолог говорил, что подтеки расплавленного в этом месте камня в своем странном сочетании тоже представляют собой как бы целую надпись. И если пользоваться отчасти некоторыми буквами этого подлинника, а отчасти буквами других древнейших надписей, то фантастическое сочетание подтеков расплавленного камня можно, пожалуй, прочесть приблизительно так:

«Разрушаю, действуя именем пославшего меня».

## ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ

Когда молодые наследники некогда весьма богатого имения при селе Даниловка распродавали всю обстановку доставшегося им старого дома, я закупил на этом аукционе несколько нужных мне книг. Среди страниц одной из этих тяжеловесных книг я нашел рукопись в один лист синей и толстой бумаги, сложенной в четвертушку. Тетрадоочка эта заключала в себе, как оказалось, целый рукописный рассказ на французском языке.

Вот перевод этой рукописи:

Я положительно сходил с ума от горя, когда умерла она, эта милая белокурая девушка, моя кроткая невеста. Мы были уже помолвлены и обручены с нею; мы так любили друг друга, и по вечерам, когда лиловые пятна зари сверкали на ветках сада, как сказочные птицы, мы часто гуляли с нею, мечтая о совместной жизни. И весь сад точно улыбался нашим мечтам.

Кто же взял ее от меня? Зачем? За что?

О, мне никогда не забыть этой милой девушки, мне не забыть скорбной улыбки ее целомудренных губ, ее детски чистых глаз, всей ее фигуры, тонкой и мечтательно-нежной.

За что же ее обезобразили так перед смертью?

Она была вся самоотвержение. И она умерла от оспы, заразившись ею в какой-то бедной хате их деревушки.

Она ухаживала там за больными ребятишками. Туда, к этим ребятам, ее толкнули самоотверженность и любовь, та любовь, которая написана золотыми буквами Евангелия; так кто же осмелился осудить ее за этот подвиг на смерть? Кто же дерзнул так ужасно надругаться над нею, обезобразив перед смертью ее милое личико до неузнаваемости? Ведь ее когда-то ясное личико казалось одной сплошной болячкой с язвами вместо глаз в ту минуту, когда она лежала уже в гробу.

Кто же сделал это? Как он смел? Где высшая справедливость?

Подлость, ничтожество, трусость, все эти пресмыкающиеся гадины блаженствуют в счастье и довольстве, а самоотверженность, любовь к ближним, целомудрие осуждаются на смерть, на позорную казнь, как преступники! Кем? Стоит ли жить среди таких законов, среди такого мира?

Эти вопросы жгли меня на медленном огне, и я хотел разбить себе череп в первый же момент после ее ужасной казни, но что-то властно остановило меня в моих намерениях, как дыхание мороза останавливает разбег ручья. И я остался жить. Для чего? Порой я даже как будто знал, для чего именно. Я словно искал случая отомстить кому-то жестокой и дикой местью, и я весь содрогался заранее в блаженных судорогах, предвкушая все восторги моей мести. Кому же я хотел мстить?

Я со слезами вымолил ее обезображенное тело у ее родных, и они после долгих колебаний уступили его мне, ибо я имел на него право, как обрученный с покойной на жизнь и смерть. И я предал ее прах земле в моем саду, устроив ей могилу между двух вековых вязов, которые должны были отныне оберегать ее покой, как два угрюмых стража.

Спи же, моя невеста, с миром; я бодрствую за тебя!

И они остались одни у ее могилы — эти два угрюмых и молчаливых сторожа, одряхлевших в борьбе с непогодой. А я уехал немедленно. Чтоб осуществить мою идею, я не мог мешкать.

Я отправился на поиски талантливого скульптора, который сумел бы понять и прочувствовать эти ужасные муки, терзавшие мое сердце день и ночь.

В конце концов я нашел-таки его.

И вот в моем унылом саду между двух вязов внезапно вырос мрачный памятник, дикий и оригинальный.

В самом деле, памятник этот был весьма своеобразен. Весь высеченный из черного мрамора, он представлял собой черную скалу с черной же фигурой коленопреклоненного ангела на ее вершине. Ангел этот, весь словно сог-

бенный под непосильной ношей, придерживал одной рукой высоко вздымавшийся и слегка наклоненный назад черный крест, будто показывая небу выпуклую надпись из крупных золотых букв.

Когда я наконец увидел этого мстительного ангела, полного тоски и печали, и когда я наконец прочитал эту мною же сочиненную дикую надпись, я задрожал от восторга.

Вот что изображала эта надпись:

Она умерла в муках,  
Обезображенная, о Господи, смертью  
За то, что спасала других!

г. 1831.

Сент. 12.

И мрачный ангел остался в моем саду, как желанный, давно поджидаемый гость. А я ежеминутно читал его дерзкую надпись и изучил все ее 78 букв и цифр, как свои пять пальцев. Я разговаривал с этими знаками, как с моими лучшими друзьями, по целым часам, я любовался ими, молился на них, потому что они одни остались в моем опустошенном сердце.

И только они одни насыщали мою жажду.

Так проходили дни за днями. Ангел упрямо показывал небу свою надпись, точно желая раздражить небо. И как будто это удавалось ему изредка.

По крайней мере, в часы непогоды небо низвергало на мой памятник целые водопады дождя, точно желая смыть дерзкую надпись всю без остатка, а в бурю старые вязы колотили по кресту своими тяжелыми ветвями, как дубинами, — пытаясь превратить весь памятник в порошок. И весь сад точно вставал на дыбы в бешенстве. Но мой ангел оставался несокрушимым, могучий своими мученьями. Он выходил победителем из этих ужасных битв. И я торжествовал, наблюдая за ходом этих сражений из окна моего кабинета, и хохотал, как в истерике, катаясь по дивану. Я был счастлив.

Однако, все мои соседи восстали на меня, находя мой памятник богохульным. Однажды ко мне заехал даже капитан-исправник, вежливо приглашая меня убрать мой памятник и заменить его новым.

Я оставался непреклонен, и капитан-исправник вышел из моей комнаты, пятась к дверям спиной, точно он выходил из клетки дикого зверя. Благодаря моим связям и деньгам, я отстоял моего Черного Ангела.

И он остался стоять в моем саду, между двух вязов, чернея мрачным пятном на фоне серого неба. Его дикие схватки с небом продолжались по-прежнему. И по-прежнему он выходил из них победителем. Битвы эти всегда отличались жестокостью, но в ночь под первое после смерти моей невесты Рождество бешенство обеих враждовавших сторон достигло крайнего напряжения. Весь обындевевший сад встал на дыбы, как взмыленная лошадь, напоры ветра свирепо свистели в воздухе, и вязы в диком ожесточении били по моему памятнику своими тяжелыми дубинами. Звуки этих резких ударов походили на выстрелы. Так продолжалось несколько часов, но к полночи все внезапно успокоилось. Ветер стих, сад словно замер в оцепенении, и небо со светлой улыбкой распростерлось над успокоенной землей,

Опасения за целостность моего памятника внезапно всколыхнулись в моем сердце.

Опрометью я бросился в сад. Мои предчувствия, однако, не оправдались. Черный ангел стоял, как и всегда, мрачно чернея среди тихо сияющей ночи все в той же позе, все такой же согбенный, словно он нес на своей спине все мучения земли. И он чернел между двух вязов, как нелепая укоризна.

А вокруг было так хорошо. Ночь светилась в сказочной красоте, сад стоял оцепенелый и по всей его белой поверхности мигали радостные огни. Я стоял и думал о той опочившей девушке. За что ж вы умертвили ее? Ужели самоотверженность и любовь всегда обрекаются на смерть в этом мире?

И в то же время я продолжал внимательно оглядывать памятник. Я взглянул на крест. Внезапно мое сердце заглохло. Здесь я нашел повреждения и повреждения довольно значительные. Из всех 78-ми букв и цифр моей дикой подписи уцелели только 16; остальные же были уничтожены без остатка, без всякого намека на их существование. Очевидно, тяжелые дубины освирепевших вязов сделали так свое дело. И я оплакивал гибель этих букв и цифр, как смерть моих любимейших братьев. А оставшиеся сверкали в лунном свете, как огненные. Вот в каком порядке уцелели эти 16:

е в а  
н г о т  
л у

г. 13      С т 12.

Я долго стоял и смотрел на эту сверкающую на черном мраморе креста надпись, стараясь постичь ее тайный смысл. Дикие мысли кружили мою голову. Может быть, в этих строках заключается ответ на мои муки?

Я стоял в свете месяца среди притихшей и словно насторожившейся ночи и, читая все эти уцелевшие буквы одною строкой, я повторял, как в полусне:

— Еванготлу г. 13 ст. 12.

Что же это может означать?

Я старательно напрягал все мое воображение. Я чуть не вскрикнул. Внезапно я прочитал:

«Еванг. от. Лу г. 13, ст. 12». То есть: «Евангелие от Луки, глава 13, стих 12».

Мне ответили! Я со всех ног, как сумасшедший, бросился в кабинет. Со спертým дыханием я сорвал с моей этажерки Евангелие и стал перелистывать его давно нечитанные мною страницы прыгающими от волнения пальцами.

Наконец я нашел то, что мне было нужно. Евангелие от Луки, гл. 13, ст. 12. Вот этот стих:

Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина, ты освобождаешься от недуга твоего!

Я понял все. Он увидел ее и подозвал! Что же это такое? Земная жизнь — недуг? Тело — недуг? Да?

Буквы Евангелия затмились в моих глазах. Я повалился у стола в беспамятстве...



Когда в хуторки «Ясный Вирх» вторично вернулись немцы, в господском доме расположился штаб 39-ой пешей дивизии, а в окрестных хуторках, разбросанных среди вишневых садов, разместились роты охранявшего штаб ландштурма. Вот тогда-то здесь и разыгралась та история, может быть, чрезвычайно простая, а может быть, глубоко таинственная, о которой и по сей час перешептываются еще все окрестности «Ясного Вирха» и будут перешептываться, пожалуй, лет пятьдесят и еще.

Нужно при этом сказать, что немцы — и солдаты, и офицеры — вели себя на этот раз из рук вон. Во-первых, они до того избили прикладами безумного Стася, того самого, который ходит по хуторкам и усадьбам в розовой бумажной короне на голове, что сломали у него три ребра, и только за то, что тот благодушно посмеялся над их касками.

Затем они изнасиловали нескольких девушек и даже девочек. Убили штыком мать одной такой несчастной, ибо та пыталась защищать свою дочурку. Обезглавили ударами палаша статую Богоматери около костела и, наконец, расстреляли ксендза Врублевского, строгого и гордого своим саном старца, за то, что тот в костеле всенародно призывал громы небесные на головы нечестивых. Собственно, после расстрела ксендза Врублевского и начинается ряд тех событий, может быть, и глубоко таинственных, которые завершились затем кровавой катастрофой. И вот в каком поряд-

ке эти события следовали друг за другом в их странном сцеплении и чередовании. После смерти Врублевского, на другое же утро к его племяннику Владеку, семинаристу старшего класса, пришел Стась в бумажной розовой короне, раздвинул мальвы и постучал в окошко.

— Владек, — звал он его таинственно, — немцы ангела в плечико поранили, ангела, ангела, того, что Деве Пречистой кадит. Владек, иди сюда, — звал Стась в окошко рукою, — Владек! — И его глаза, всегда похожие на глаза испуганного ребенка, на этот раз были темнее, глубже и безысходнее.

— Идем посмотрим! Кровь у Ангела бежит! И-и-и! быть худу! быть худу! Этого не простит немцам Старый Отец! И-и-и! Ни за что не простит! И-и-и! Плохо будет немцам!

Стась даже жмурил глаза от страха и за полу тащил Владека с крыльца.

Лицо у него было такое, какое бывает у ребят, когда они грозят ребятам же гневом взрослых: таинственное, кроткое, но вместе с тем и строгое.

Его русые, курчавые волосы шевелились на плечах, колеблемые ветром, в колебалась розовая бумажная корона.

Владек точно заразился от него жуткостью.

Они побежали оба туда, к костелу, где на площадке, обсаженной тополями, стояла на черном камне Белая Дева, а напротив, на таком же черном камне, белый ангел, благоговейно кадящий Ей. Стась проворно взобрался на высокий четырехугольный камень, на котором стоял ангел.

— Вот видишь кровь на плече! Вот! В этом месте у него на плече выбоинка, словно пулей его ударили или саблей, в плечо. И кровь тут! — возбужденно говорит Стась, показывая Владеку, объясняя ему жестами. Владек увидел своими глазами кровь. Действительно, кровь. И выбоинка словно от удара, и в белой выбоинке алая кровь. Его лицо стало розовым и будто залихорадило Владека.

— Постой, постой, — забормотал скороговоркой и он. — Я побегу домой. Достану чистый листик белой пропускной бумаги и соберу эту кровь. И спрячу на память. Ты слы-

шишь? Все-таки это странно, чрезвычайно странно! Вот у меня даже зябнут руки!

И Владек побежал за бумагой, а безумный Стась стоял в это время на коленях и молился Богу.

— Умилостивись, Старый Отец, не истребляй их всех, хотя они и немцы! Старый Отец, разве они виноваты в том, что они немцы? — молился Стась кротко и с благоговением.

Между тем, Владек прибежал, собрал бережно пропускной бумагой кровь на плече ангела и спустился к Стасю. И тут лихорадка точно оставила его и разум снова вернулся в его голову.

Ласково похлопывая Стася по плечу, он говорил ему:

— Вероятно, все это произошло вот как... Ты знаешь, на эту статую, так же, как и на костел, часто садились голуби? И вот, когда немцы расстреливали дядю, одна пуля случайно скользнула по плечу ангела, когда на его плече сидел голубь, и пуля эта поранила голубя, и эта кровь, которую я собрал — кровь голубя. Это, правда, — странная случайность, но это так! Иначе что же может быть?

Лицо у Владека было холодное и строгое, когда он говорил все это, и выражало глубокую веру в свои слова, но Стась ему не поверил и расплакался.

— Я знаю, ангелу больно, — нашептывал он с глазами, полными слез, — немцы пролили кровь ангела, и как воздаст Старый Отец немцам!

В этот день Владек все ходил по хуторкам и оглядывал голубей, которые попадались ему на глаза, — разыскивал раненого голубя, но он такого не заметил. Лицо у него было печальное и строгое.

А на другой же день Стась опять постучал к нему в окно.

— Ты всю кровь с плеча ангела собрал? — спросил он с грустной таинственностью.

— Всю. А что?

— А на плече ангела опять кровь, и на том же месте, — сообщит, ему Стась.

Владек собрал и теперь кровь ангела той же бумагой и снова сказал:

— Значит, тот раненый голубь вновь сидел на его плече. Птицы тоже подчиняются привычкам. Ничего, Стасик, не бойся!

— Нет, я боюсь за немцев, — ответил Стасик, — увидишь, что будет!

Владек и этот день разыскивал раненого голубя, но не нашел. А через несколько дней Стась огромными прыжками бежал к Владеку и в испуге кричал:

— Владек! Владек! Владек!

Тот опрометью выскочил из хаты, и у него сразу же захолонуло на сердце.

— Ну? — спросил он.

— Ангел ушел и увел Чистую Деву! — задыхаясь, выговорил Стась.

Владек знал, что Стась никогда не осквернял уста умысленной ложью, но он воскликнул:

— Ты лжешь, Стась!

— Обереги, Боже! — поднял обе руки Стась и опять заплакал. — Быть худу, и-и-и, быть худу!

Владек схватил Стася за руку и побежал вместе с ним к костелу. Там своими глазами убедился он: не было ни Девы Пречистой, ни ангела, кадящего Красоте Непорочной, их не было на их черных четырехугольных постаментах.

Стась плакал и пел, воздевая руки:

— Аллилуйя, аллилуйя, умиловись, Старый Отец!

И синие недужные огоньки тлели в глубине его кротких ребячьих глаз. И слезы его падали, как крупный бисер, на землю.

Ночью долго не мог заснуть Владек. Будто все тмилось в горячей его голове и обволакивалось туманами. Но о-полночь, когда единственный в «Ясном Вирхе» петух, еще не съеденный немцами, гнал своим криком в темные тартары наземную нечисть, будто солнце вошло в голову Владека. Твердо решил он и сказал вслух:

— Это немцы сняли с постаментов и Обезглавленную Пречистую и ангела, кадящего Ей, ибо они видели, что народ начинает волноваться и по поводу обезглавленья, и по поводу крови на плече ангела, и немцы где-нибудь схоро-

нили их!

И тотчас же уснул крепко Владек.

Но народ заволновался еще более. «Ясный Вирх» шумел, кричал, собирался в кучки.

— Если Чистая Дева и ангел ушли от нечестивых, уйдем и мы, — шумели здесь и там.

И все честные ушли из «Ясного Вирха». Одни немцы остались там. Разбрелись все хуторки по белу свету. Только Владек поселился у старого пчелинца Антося Чупры, в полутора верстах. Да Стась скитался по окрестностям в бумажной короне, а ночевал по-прежнему у заколоченного костела возле запертых дверей. И тогда подошло то страшное и кровавое, о чем давно уже догадывался Стась. И подошло неожиданно и неотвратно.

Услышал Владек ночью глухие и протяжные взрывы за лесом и выскочил из хаты вместе с дедом Антосем. И видели они, двадцать багровых факелов поднялось за лесом, там, где стоял «Ясный Вирх». И ухало там оглушительно, и скрежетало зубами и визжало страшно неведомое чудовище, и дымом и огнем взбрасывало к самому небу. А потом только тихие алые факелы остались в небе. И тлели долго.

И бежали люди какие-то по лесу, и перекликались свистом в предутреннем тумане. Дед Антось и Владек все стояли, цепenea, смотрели и слушали, и зябли. А на рассвете пришел Стась с синим огоньком в глубоких глазах, в бумажной короне, и спросил:

— Видел? Слышал? Сбылось все, что сердце мое чуяло. Не пощадил их Старый Отец. Всех, с первого и до последнего, предал уничтожению! И-и-я! Как гневался Старый Отец!

— Как это было? — спросил, пристукивая зубами, Владек.

— Тридцать их пришло ночью, приплыли, как птицалунь по небу, — не услышать! Не увидеть! И каждый три бомбы бросил немцам! И-и-и!

— Партизаны? Солдаты? — пристукивая зубами, прошептал Владек. И синие огоньки затеплились и в его глазах.

Стась опустился на колени и крепко схватил обе руки Владека.

— Не знаю. Они! И-и-и! В лохмотья и мочалу рвал их тела Старый Отец и скрежетал громовым голосом! И-и-и! Как гневался!

— Так им и надо! — закричал вдруг Владек истощенным голосом и, пав на колени, обнял Стася, и оба они заплакали горько. А Антось все вздыхал, покачивая старой трясушей головой.

И, плача оба, те перешептывались.

Сказал Стась:

— Он их привел. Сам видел: Он! Тот, ангел кадящий. Я его сразу признал. . . . . Он везде первым шел! Он! Он!

— Ангел? — спросил Владек.

— Ангел кадящий, — ответил Стась. — Тот самый! Когда они уходили, я подошел к нему и спросил: «Как зовут тебя, ангел?» Он поглядел на меня, а лицо у него такое строгое-строгое, бледное-бледное... как у умирающей девы...

— Ну? — шепотом поторопил Владек, все еще изнемогая от озноба.

— И он ответил мне: «Гавриил!» — плакал Стась...

## СОН ПОСЛЕ БОЯ

Это произошло в окрестностях Лодзи, бок о бок с волчьими ямами, переполненными изуродованными трупами; рядом с целой сетью проволочных заграждений, на острых колючках которых там и сям висели лоскуты человеческого мяса и человеческих одежд, насыщенных кровью.

Это случилось после ужасного натиска немцев, после дикого боя, под бешеную пляску рвущегося по земле железа, под иступленный рев пушек, под истерическое взвизгивание артиллерийских снарядов, под монотонное гуденье пуль, будто отпевавших кого-то.

Кого-то отпевало в самом деле оно, это монотонное пение? Мечты о мире или зловещий призрак войны? Кто знает?

Однако, когда враг, наконец, дрогнул и побежал назад в диком ужасе, прекратив свои бешеные натиски, они расположились на ночлег, наши железные рати.

Уснул и один совсем еще молодой офицер, с головой завернувшись в бурку. Но едва лишь он сомкнул глаза, как барабаны вновь затрещали тревогу. Он услышал чей-то сердитый окрик:

— Снова штурм! О, черти!

Пушки рывкнули, железо заметалось по земле в дьявольской пляске. Кто-то крикнул ему в самое ухо сквозь невообразимый гвалт:

— Вставайте! Они уже близко! Германцы!

Он пожевал губами, но не мог произнести ни единого слова, будучи не в силах преодолеть сна. Ему хотелось сказать:

— Оставьте меня в покое. Я уже давно приготовился к смерти, но я устал от убийств. Я хочу спать.

Несколько темных силуэтов пробежали, прыгая через него, как через труп. И вдруг что-то рывкнуло ему в самое ухо, что-то отвратительное и безумное, как хохот самого сатаны. В ту же минуту он увидел, что кто-то бежит к нему, кто-то удивительно длинный и странный, с искривленным от злобного гоготанья ртом. Он подумал:

«Смерть моя!»

И тотчас же почувствовал во всем своем теле острые пронзающие мурашки.

Он снова подумал:

«Кровь стынет. Меня убили! Сонного!»

Эта мысль повергла его вдруг в ужас, несмотря на то, что он уже давно готовил себя к ней старательно. Все в нем безмолвно вскрикнуло в отчаянии:

— Да быть этого не может! Я не хочу этого! Не хочу!

Безмерная жажда жизни внезапно будто sprysнула его на одну минуту живой водой. Порывистым движением он оторвал несколько от земли свое бессильно распластанное туловище и схватился рукою за рукоять сабли, пытаясь выдернуть ее из ножен, чтоб защищаться от кого-то. Но тут он увидел над собой лицо своей жены, все донельзя взволнованное и мучительно потрясенное, будто выдвинутое из тьмы стремительной силой. Низко склоняясь к нему и вся сотрясаясь от kloкотавших в ней чувств, та проговорила:

— Этого теперь уже не надо!

И, поспешно сорвав его руку с рукоятки сабли, она с той же поспешностью, точно боясь опоздать, сложила его холодевшие пальцы в крестное знаменье.

Он услышал:

— Вот. Вот так! Вот все, что нужно.

И она припала к нему на грудь в безотчетном порыве. В нем будто что дрогнуло благостно, как единая капля чистой живой воды посреди уже мерзлой глыбы. Ему хотелось сказать:

— Спасибо: не забывай!

Но он не сказал этого. Не мог. Словно непроницаемая пелена постепенно задерживала его от всего мира, как падающий занавес. По всему его телу властно разливались тяжесть и оцепенение. Последняя мысль лениво шевельнулась в нем, как отходящая ко сну птица:

«Вероятно, то же самое чувствует и вода, замерзая в лед; ту же тяжесть и то же оцепенение. Но вода не исчезает, а лишь изменяет первоначальную форму. Может быть, и я...»

Он не успел продумать до конца этой мысли.

Его мысль замерзла. Он перестал сознавать себя.

— Он умер! — сказал санитар, прикасаясь к его одеревенелому плечу. — Носилки капитану Шустрову!

— Хороший был офицер, вечная ему память!

— Вы знаете, он только что перед самой войной женился. Бедный!

— Ишь как! Все внутренности разворотило!

— Где здесь капитан Шустров? Убит? О, Боже!

— Сестричка! Поплакали и довольно. Эх-хе-хе, все здесь останемся! Соболаговолите оставить ваши слезки и для других прочих! Которые также в свой черед!

Капитан Шустров не слышал этих отдельных возгласов, однако. Он лежал вытянувшись, с лицом неподвижным, как восковая маска, и он только воспринимал их, все эти возгласы, как дерево воспринимает удары молотка. Сознание молчало в нем, как молчит горное эхо до первого голоса вечно существующей жизни.

И вдруг он почувствовал, что в его окаменевшем сознании словно затеплилась слабая искорка. Сознание его дрогнуло внезапно, будто пробуждаясь от сна, и слабая искорка разгоралась все сильнее и сильнее, как пламя угля, раздуваемого чьими-то благодатными устами, непорочными и чистыми. Теплые и благодатные, как молитва, чувства наполнили сознание его ароматной волной. Он ощутил собой вновь движение жизни, впрочем, едва уловимое, как мелодичное гуденье шмеля в цветочной клумбе, среди тихого сияния майского дня.

— Кто ты? — безмолвно спросил он в своем сознании того, чьи непорочные уста раздували в нем светлое пламя жизни.

И он услышал:

— Я — гений жизни. Я — ангел Пославшего меня. Я — летний дождь. Я — солнечный луч. На светлом венце чела моего начертано:

«Да возродится семя, упавшее в землю, в новой жизни!»

Сознание вновь благодатно дрогнуло в нем, и он внезапно понял, что он уже не капитан Шустров, но все же кто-то весьма близкий этому последнему. Мучительные слезы закипели в нем, и он тяжело расплакался, словно все его сознание исходило одними горькими слезами и мученьями. Тот же голос спросил его:

— О чем ты? Что видишь ты?

Он отвечал:

— Я вижу изодранные лоскуты тела человеческого на острых колючках проволоки. Капли крови падают с них на землю, как слезы, насыщая почву. Я вижу туловища, раздавленные в кровавое месиво, и землю, скользкую от крови. Я вижу зарева пожаров, изуродованные лица и все ужасы войны. Вот отчего мои муки!

— Что думаешь ты?

— Я думаю, возможно ли, чтобы ужасы эти творились во имя преходящих материальных благ? Во имя приобретения земель? Во имя успехов торговли?

Он вновь почувствовал на себе светлое дыхание чистых уст гения жизни и услышал снова в просветленном сознании своем:

— А теперь? Что думаешь ты теперь?

— Я думаю: человечеству не открыты истинные цели войны; истинные цели войны направлены лишь к свержению ее кровавого ига.

Голос спросил:

— О чем вспомнилось тебе?

— Я вспомнил. Когда один студент убивал старуху-закладчицу, он думал, что он убивает ее лишь для того, чтобы воспользоваться ее богатствами. А вышло, что он убил ее лишь для того, чтобы начертать в сердце своем: убивать нельзя!

— Какой же вывод делаешь ты в пробужденном разуме своем?

— Я еще раз делаю вывод. Человечеству неведомы истинные цели войны. А между тем, везде и всегда человечество воюет лишь за идею вселенского мира. Только ради нее! Иначе сказать: во времени — народ воюет с народом,

вне времени — война истребляет войну.

— Легче ли тебе?

— Со дна сознания моего будто поднимается радостный трепет, как светлое облако.

— Почему? Кем стал ты теперь? Что раскрылось твоему взору?

— Я — розовое облако светлой зари счастья народного. Я вижу: вот подо мной великий город с шумной радостью приветствует братаящиеся народы, только что подписавшие грамоту вселенского мира. Войны больше нет; она съела самое себя, как отвратительное чудовище! Я слышу ликования всего света!

— Что чувствуешь ты?

— Слезы бесконечной радости падают из моего розового лона на счастливый город, как золотой дождь. Голубоглазые дети с венками на головах приветствуют меня, как счастливое знамение новых дней. Я слышу их безмятежные крики: «Розовое облако! Прими наш привет, о, розовое облако!»

— Капитан Шустров!

Он весь вздрогнул, проснулся и вскочил на ноги. Протирая заспанные глаза, он огляделся.

Над зловещим городом зловеще горела багровая, как кровь, заря. Барабаны сердито трещали. Из темных подземелий выходили железные люди, молчаливо строясь в ряды. Среди безмолвных небес, раскинувшись, как пламенный цветок, внезапно разорвалась шрапнель. В багровом тумане показались тучеобразные колонны медленно надвигавшегося неприятеля. Капитан Шустров стал впереди солдат, весь сосредоточенный и строгий.

— Я сегодня буду убит, — тихо шепнул он молоденькому, совсем безусому офицеру. — Вы замените меня. Я вам верю, как себе.

И с тем же чувством, с каким он, бывало, в дни далекого детства подходил к причастию, он медленно извлек из ножен свою блеснувшую багровым лучом саблю.

— С нами Бог! Вперед!



Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом,  
Я при свечах навела...

Фет

Тонкая молодая женщина с большими, темными и прямо-таки страшными своей отчужденностью от всего земного глазами, нездешними глазами нестеровских ангелов, сидела на вокзале захолустной станции в ожидании поезда и беседовала с нами, ее случайными спутниками. Она говорила, а мы внимательно слушали, не отводя глаз от ее прекрасного нервного лица, грустно освещенного мистическим светом ее глаз.

— На свете много непознанного, — говорила она нам грустно, нервно двигая бровями, — и много тайн окружает нас. Что мы знаем о том мире, среди которого мы живем? Жалкие отрывки по всем отраслям знания — вот научный багаж современного образованного человека. Разве он в состоянии объяснить, почему крылья вот у этой бабочки цветисты, как перламутр, а вон той черны, как уголь? Разве химический состав яичек, из которых они вылупились, не однороден? Как зародилась первая клеточка первичной водоросли? Где? При каких обстоятельствах? Куда девается духовная сущность человека после смерти его? Во что перерабатывает ее земля? Кто сможет отвечать на все эти вопросы и какими доказательствами подкрепит он свои соображения? Все это — тайны и тайны, которые не в силах осветить никакой ум. Не правда ли, как ограничен предел человеческого зрения, и разве вы поверите мне, если я скажу вам, что однажды я видела событие, происходившее от меня на расстоянии десятка тысяч верст? Да, да. Я жила

в уездном городке Саратовской губернии и видела своими глазами смерть моего мужа на Дальнем Востоке у бухты Посьета. Вы мне верите? Хотите, я расскажу вам, как произошло все это?

— О, пожалуйста! — раздался голоса.

Она спросила:

— Зачем? Ведь все равно вы не поверите ни единому моему слову?

— Пожалуйста, — просительно проговорил кто-то, — ради Бога!

Опять она повторила капризно и нервно:

— Зачем? Вы прослушаете мою правдивую историю, изломавшую мою жизнь, как святочный рассказ, а я... что я пережила в ту ночь... — Она схватилась за голову с жестом отчаяния и, как черные бриллианты, страшно замерцали ее нездешние глаза.

— Пожалуйста, расскажите, пожалуйста, — почти выкрикнула пожилая дама с целым балдахином из страусовых перьев на рыжей голове и стала целовать руки молодой женщины.

— Извольте, — согласилась та покорно. — Я жила, как я уже вам сообщила, в маленьком уездном городке Саратовской губернии, а мой муж, пехотный армейский поручик, находился около Владивостока в отряде, охранявшем бухту Посьета от японских десантов. Я всего два года была замужем и любила моего мужа безумно. Когда муж уехал на войну, я даже хотела было ехать вместе с ним, но муж убедил меня не делать этого.

Как я могла рисковать жизнью моего первенца, которому лишь исполнилось одиннадцать месяцев? Волей-неволей, я осталась с матерью и сыном. А муж уехал один, перекрестив меня и ребенка. Я понимала, конечно, — воин не может сидеть дома, когда отечество в опасности, но я часто плакала по ночам. Думала без сна: «Какие-то ужасы сторожат моего бедного воина? Что, если они изловили уже его сегодня? Вчера? Позавчера? Эти страшные призраки войны, с налившимися кровью глазами, что, если они встали поперек его тяжелой дороги?»

Муж писал мне довольно-таки часто из своего страшного далека. И в своих письмах почти всегда он просил меня не беспокоиться об его участи. Японцы делали слабые попытки к высадке на том побережье, и наши полевые батареи метким огнем всегда заставляли их шлюпки показывать корму. Больших сражений там не происходило, и офицеры совсем скучали бы без дела, если бы не частые стычки с беспорядочными бандами хунхузов. Муж так и писал мне в письмах:

«Милая женка моя. Обо мне не беспокойся. Опасностей никаких, и отличиться негде; на маневрах страшнее. Самое большое — привезу клюкву на саблю. А большее получить не за что. Бьем мы только хунхузов, разбойничью дрянь, трусливую, но блудливую. С ними ведается одна артиллерия, но на берег их не пускает. Бог даст, и не пустит».

Я радовалась, конечно, за мужа, но вдруг он замолчал. Прошла неделя, две, три — и ни одного письма. Я заметалась, послала несколько телеграмм, но ответа не получила. Никакого! Просто хоть сойти с ума! Что мне было делать? Стыла кровь в сердце, а по ночам к постели теснились черные ужасы. Старая кухарка Агафья, жившая у моей матери бессменно двадцать лет, сказала мне:

— А если бы вам погадать, барыня?

— У кого погадать?

— Как у кого? А у Рабданки?

В моей голове мелькнуло: «В самом деле, как я могла забыть о нем?» Весь наш городок говорил об этом страшном человеке как о кудеснике. Рабданка — только он мог рассказать о моем муже. Только он, только он. К вечеру этого дня я была глубоко уверена в этом. Или Рабданка, или никто. Рабданка — родом сибирский бурят — жил в нашем городе лет пятнадцать и занимался огородничеством и шитьем сибирских меховых туфель. Проживал он в собственном маленьком домишке, на окраине, весьма уединенно. И изредка, за большие деньги, он соглашался погадать всем, особо чаявшим его гадания. Говорили, что он гадает по кофейной гуще, по отражению свечи в чашке с водой, по какой-то толстой книге, переплетенной в оленью кожу. Сло-

вом, гадает чуть ли не сорока способами. Не выдержав искушения, я поехала к Рабданке в тот же вечер. С тревогой я постучалась к нему в дверь, когда извозчик подвез меня к незнакомому домику в три окошка. Бурят встретил меня со свечой в руке, заглядывая в мое лицо своими косо прорезанными, но острыми глазками. Его желтое лицо, безбородое и сморщенное лицо ворчливой старухи, было озабоченно. Он был одет в какую-то длинную и широкую кофту, достигавшую до самых пят, как юбка.

Он выпустил меня в дом, в маленькую комнату, окна которой были заставлены темными четырехугольными ширмами с изображениями белых длинноносых птиц. Посредине комнаты, на возвышении, стояло квадратное, в аршин, зеркало в черной раме, украшенной изображениями тех же белых птиц с длинными клювами.

— Балисня погадать хосит, — сказал он мне, картавя, как ребенок, после того, как я сообщила ему о цели своего путешествия к нему, — а я балисне гадать не хосю.

Я сказала ему, что я — не барышня, а барыня, и опять просила его погадать, но он упрямо отнекивался:

— Не хосю. Не хосю и не хосю.

И даже отмахивался руками. Я сулила ему за гаданье десять, пятнадцать, двадцать рублей, но я не могла сломить его упрямство. Но тут я сказала, что мой муж на войне, что три недели я не имею о нем сведений, что я беспokoюсь, уже не убит ли он. И я расплакалась. А сердце бурята, видимо, растрогалось.

— Ну, ну, ну, — стал успокаивать он меня, — ну, ну, немносько станемь гадать, немносько очень, но холосё-холосехонько!

И он помог мне раздеться, нежно прикасаясь к моим рукам. Потом он исчез за бурой занавеской, которой комната как бы разгораживалась на две части, и вынес две зажженные свечи в черных подсвечниках и небольшое квадратное зеркало. Свечи он поставил по бокам большого зеркала и поменьше — вручил мне.

— Сядь сюда холосенько, — руководил он мною, — зелкалё делай так и глади и сё увидись... осень сё...

— Все? — спросила я, начиная робеть.

— Сё! — повторил он решительно — и музя, и сё! Осень холосенько увидись...

Он как-то чуть наклонил бывшее в моих руках зеркало, сделал три-четыре жеста над моей головой, и передо мной вдруг развернулась бесконечная сияющая даль. Его взгляд прикоснулся к моему темени, как острое шило. Я содрогнулась. Он еще более приблизил свое лицо к моему. Его лицо стало зеленоватым, а из его глаз словно текла светящаяся колеблющаяся струя, входя в мой мозг и делая мою голову тяжелой, но словно пустой.

Он ушел, и я почувствовала его взгляд на своем затылке, как теплую струю.

— Вот так, — бормотал он ласково, — смотли и смотли холосенько. Холосенько, холосенько и еще осень холосенько!

Мое сознание словно на мгновение задернулось туманами. А потом вновь расторглось, разворачивая передо мной те же дали. Рабданка исчез с поля моего зрения в зеркале. Я передохнула всей грудью, напрягая зрение.

— Сейсясь увидись музя, — услышала я лепет Рабданки. И я увидела вновь в зеркале его лицо. Оно было совершенно зеленое, все оттянутое книзу странной усталостью.

— Нисего, нисего, — пробормотал он мне успокоительно, — еще немноско и немноско!

Сверкала даль передо мною, и я не чувствовала течения времени. Будто одеревенели мои виски, а грудь распиралась широкими, жуткими, острыми и мучительными ощущениями.

— Нисего, нисего, — едва достигало меня откуда-то одобрительное бормотание, — нисего!

А даль, расстилавшуюся передо мною, вдруг стало тягивать трепетной синью, я увидела белые облака и низкие кустики, мелькнуло бурое поле.

Я простонала и услышала ласковое, одобрительное, но полное утомления:

— Нисего! Нисего!

Там вдали передо мной мелькнули один за другим вооруженные всадники в низких шапках. Я замерла. Передо

мною словно разворачивалась лента какого-то волшебного кинематографа. Мелькали всадники, и опять тянулись низкие кусты. И вдруг я чуть не вскрикнула «Костя!». Я увидела мужа. Он стоял на пеньке среди кустиков и, быстро работая карандашом, видимо, зачерчивал на листке своей записной книжки расстилавшуюся перед ним местность. В нескольких саженях позади него среди кустов лежали два казака и играли прутиками. А еще дальше, стреноженные, паслись три лошади. Я чуть не заплакала, увидев после долгой разлуки моего мужа, а он проворно работал своим карандашом, пытливо рассматривая прямо перед собою расстилавшуюся местность. Как я хотела броситься к нему, обнять его, целовать и целовать, но я все-таки сознавала, что это не он, а лишь его отражение, что это — бесплотный мираж, страшный бред обезумевших зеркал, оживленных чьей-то невероятной силой.

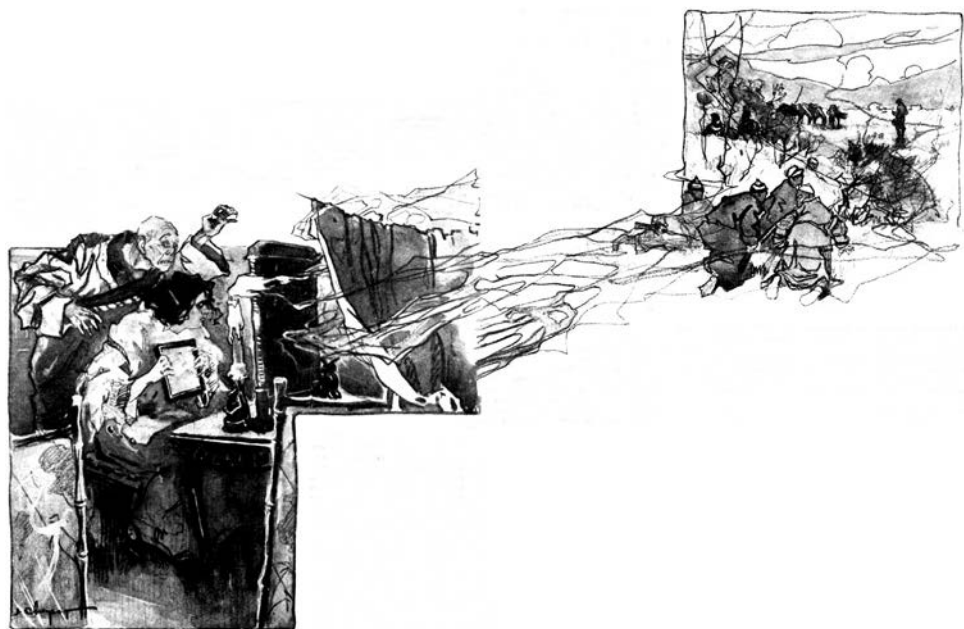
— А-а, — простонала я мучительно.

— Нисего, нисего, — проползло ко мне еле слышно.

Опять затрепетала даль, и вновь я увидела. Там, за холмом, сбоку, совсем припадая к земле, ползком тянулись друг за другом человек пятнадцать странно одетых людей, вооруженных винтовками.

— Хунхузы! — чуть не закричала я, догадавшись, и тут же сообразила, что они выследили разведочный отряд моего мужа, отряд, состоящий всего из трех человек, и что они желают напасть на него врасплох, прячась в траве, как отвратительные гады.

Подлые, разбойничьи души! Они все ползли и ползли. А я немела перед зеркалом с напрягавшимся до последней степени сознанием, со свинцовой тяжестью у висков. А те ползли. И муж все так же проворно зачерчивал что-то в свою записную книгу, и все так же беззаботно играли прутиками бородатые казаки. И вот я увидела: те страшные гады подползли близко-близко и, выставив длинные стволы, стали целить медленно-медленно. Как рысьи глаза, сверкали косо прорезанные щели и хищно слабились синеватые рты. Пятнадцать ружей уставились в трех человек, не подозревавших о дьявольской ловушке. Я изнемогла.



Как полярной стужей, опахнуло мои колени, и я еле сидела на моем стуле. Может быть, те промахнутся. Пятнадцать ружей в трех человек? Может быть, сейчас перед моими глазами совершится чудо из чудес? Святая Заступница, Непорочная Дева! Ради моего первенца, сжался! А те все целились и целились. Потом легкой синью вспыхнул прозрачный дымок, уносясь и разрываясь под ветром. Я хорошо видела: упал, как подкошенный, муж. Поникли казаки беззаботными головами.

Все померкло на мгновение перед моими глазами, бросив в зеркало черной тьмою. А потом вновь все проянилось в безмятежной лазури. И я, смертельно изнемогая, увидела: четверо разбойников держали за ноги и за руки моего Костю. Он был тяжело ранен, и никло бледное лицо его. А пятый негодяй кривою саблей вырезывал на его лбу, на лбу моего милого мужа, какие-то страшные знаки. Издевался, мучая раненого... А потом все пятеро замахнулись на него саблями.

Страшные зеркала хотели заставить меня быть свидетельницей предсмертных пыток моего мужа. Я выкрикнула что-то непонятное, вскочила на ноги, с силой ударила зеркалом в зеркало, с яростью истребляя моих мучителей. Целый дождь острых и злых искр осыпал меня, как будто проникая в мой мозг. Я упала на пол. Через полчаса меня взяли от Рабданки мой дядя и моя мама. Прежде чем увести меня от него, они выпрашивали бурята, что такое увидела барыня в зеркале, отчего она так смертельно напугалась. Но тот отнекивался полным незнанием, разводил руками и невнятно шепелявил:

— Я же нисего не зняю! Я же сам себе денезки не плясил, ни зельтенькие ни беленькие, как же я увижу? Почему так? Лязьве же мозно далём?

А я пролежала целый год в лечебнице для нервно-больных...

Тонкая молодая женщина с нездешними глазами тяжело расплакалась, припадая к столу.

Мы безмолвствовали, поникнув, не поднимая на нее глаз. Потом кто-то робко спросил, боясь прикоснуться к

изболевшей душе:

— А как объяснили вам официально смерть вашего мужа?

Она чуть приподняла голову.

— Официально? Был послан с двумя казаками на разведку и без вести пропал вместе с ними. Так сообщил мне штаб.

И женщина вновь припала к столу. Через четверть часа мы навсегда расстались.

## УБИЙСТВО МАЙОРА АРСА

Пленный немецкий лейтенант с задумчивыми серыми глазами и медлительной речью, после того, как его сытно и вкусно покормили у нас в штабе дивизии, рассказал, попивая кофе, нижеследующее:

— Я — писатель. На войне меня больше всего интересовали те исключительные истории, те загадочные случайности, которые бывают так похожи на вымысел, порождение больной фантазии, на кошмар, на лихорадочный бред. Таких историй записано у меня более десятка. И среди них убийство майора Арса, моего ближайшего начальника, надо считать самой выдающейся по своей исключительности и выдержанной стройности. Эта история похожа на какую-то геометрическую теорему, весьма сложную, но и изумительно цельную по своей глубочайшей последовательности. Словом, вот вся эта странная история с начала и до конца, во всех ее промежуточных стадиях.

### I

Мы находились в Северной Франции, в живописных окрестностях замка графов Гранкер-де-Бельом. Три представителя этого знатного рода дрались в рядах французской армии, а четвертая — молодая девушка, двадцати лет, состояла сестрой милосердия в одном из полевых лазаретов. Будучи захвачена нами в плен, она временно проживала в своем родовом замке, где занимал две комнаты и командир нашего батальона, майор Арс. Это был высокий и тонкий человек 52 лет, сухой телом и душой, вдовец, презиравший женщин, формалист до мозга костей, во имя буквы закона готовый попортить все. И вот эта девушка, надменная графиня Гранкер-де-Бельом, была застигнута однажды в то время, когда она передавала сельскому мальчишке записку, как оказалось, — письмо к своему брату-офицеру. За-

писка сообщала весьма подробно о расположении наших войсковых частей в окрестностях замка и умоляла офицера напасть на замок, чтобы выгнать из родового гнезда «проклятых бошей», как презрительно обзывала нас записка надменной графини. Как мог откликнуться на подобный факт такой черствый формалист, каким был майор Арс? Конечно, он приговорил графиню в тот же день к расстрелянию. И сам пожелал привести этот приговор в исполнение, дабы показать пример молодым офицерам.

Однако, когда он скомандовал взводу, ни один солдат не решился разрядить своего ружья в девушку, да еще одетую в костюм сестры милосердия, и майор Арс, приблизившись к ней, вынул браунинг и убил ее выстрелом в левый висок, в упор, чтобы показать солдатам пример беспрекословного повиновения воинскому уставу. Это произошло без четверти семь утра. Это прошу запомнить, как и то обстоятельство, что графиня была убита им в левый висок. А в семь вечера девушку уже хоронил кюре на нашем сельском кладбище. К довершению всего, майор Арс, видимо, желая несколько загладить все содеянное им, совершил вновь возмутительную бестактность: он пошел на похороны девушки и даже понес ей огромный букет алых роз. Конечно, он хотел показать этим населению, что он только суровый исполнитель сурового закона, но что в сердце своем он вместе со всеми готов оплакивать самым искренним образом погибшую девушку; однако вы сами можете себе представить, какими негодующими взорами майор был встречен на этом кладбище. Кюре, увидев его с цветами в руках, воздел глаза к небу и в понятном возбуждении воскликнул:

— Желаю и тебе, убийца, воспринять такую же смерть!..

Майор Арс опешил от такого приветствия, но, однако, он тотчас же оправился и сдержанно ответил кюре:

— Если я не исполнил закона, а нарушил его, я ничего не имею против точно такой же смерти!..

И, уронив цветы, майор Арс круто повернулся и ушел с тихого кладбища от засыпанного цветами трупa девушки. А на другой день ровно в семь часов утра в деревушку, где

были расквартированы мы, офицеры, прибежал денщик Арса, бледный и трясущийся, и возбужденно сообщил нам, что с майором произошло что-то неладное: *в без четверти семь* в его спальне раздался выстрел, а дверь в спальню, между тем, заперта изнутри, и что там произошло — неизвестно, но майор, однако, более не откликается на стук в дверь и на зов. Мы, офицеры, почти все, как один, подумали о нашем начальнике:

— Снервничал и застрелился из того же браунинга, которым он убил девушку.

И только адъютант Арса, магистр астрономии лейтенант Линденбаум, будто догадавшись о наших мыслях, сердито и встревоженно заметил:

— Разве у таких людей, как Арс, есть нервы? Его убили!..

— Кто убил? — спросил я.

## II

И все мы стремглав побежали в замок. Тяжелую дубовую дверь пришлось снять с петель, ибо она была заперта на ключ самым аккуратным образом, в два поворота, и ключ при этом был оставлен в замочной скважине. Теснясь, мы продвинулись в спальню майора с тем особым благоговейно-жутким чувством, с каким входят к только что умершему. И мы увидели его тотчас же. Он лежал на правом боку лицом к стене, и голова его слегка завалилась с подушки, а его левая щека вровень с ухом была вся залита темно-бурой, запекшейся, густой, как остывающий сургуч, кровью. Мы сначала все думали, что он убит выстрелом в ухо. Но, наклонившись над ним, Линденбаум сказал, повертывая к нам свой острый взгляд:

— Майор Арс убит в левый висок, точно так же, как и...

Он не договорил. Мы переглянулись. Да. Майор Арс был убит выстрелом в левый висок. Но мысль о самоубийстве надлежало тотчас же бросить. Браунинг майора лежал на

его ночном столике, заряженный на все пули. После своего выстрела в девушку, майор, видимо, даже успел перезарядить его и вытереть от пороховой гари самым аккуратным образом.

— Его убили, — выговорил строго Линденбаум.

— Кто? — опять спросил я тихо.

Выстрелом через окно его не могли убить, ибо все звенья широкого окна спальни были целы. А выстрелом через дверь нельзя было попасть в голову Арса, ибо таково уж было расположение этой двери. Через нее можно еще было бы прострелить лишь ноги майора. Я высказал вслух эти мои предположения, но Линденбаум мне возразил:

— Преступник мог выставить звено или всю раму, убить Арса и затем вновь вставить то или другое.

Это замечание было совершенно справедливо, и мы принялись за самое внимательное обследование окна спальни. Однако, мы тотчас же должны были бросить и такие подозрения. Замазка вокруг всей рамы и вокруг каждого звена громко кричала о том, что она существует во всей своей неприкосновенности никак не менее нескольких десятков лет, ибо она успела уже переродиться в настоящий, цельный известняк и плохо поддавалась даже стальной стамеске.

— Значит, Арс убит не через окно и не через дверь, — сказал я вслух, — а тогда как же? Через потолок и стены ведь немыслимо же!..

Мы продолжали наши расследования. Линденбаум ворчал:

— Странно, что майора убили, очевидно, тоже в без четверти семь утра... Как и графиню Гранкер. Удивительно странное совпадение! И посмотрите на страдальческое выражение его лица. Он точно видит страшный сон, и хочет, но не может проснуться!

И тут же он обратил внимание на охотничью сумку, висевшую на каменном выступе стены, поддерживавшем полку; уставленную старинными образами, — родовыми святынями графов. Эта сумка висела как раз над самой головой майора Арса. Он снял ее. И тогда мы все увидели крупных размеров дуэльный пистолет, висевший на гвозде, вот

именно над левым виском майора. У всех нас тотчас же вырвался слабый крик, похожий более на стон, ибо тотчас же мы все сразу сообразили, по самому положению пистолета, что он-то и есть убийца Арса!..

Он — этот пистолет! Несколько мгновений мы смотрели — на него с ужасом, а потом лейтенант Линденбаум, зарисовав на стене его расположение, бережно снял с гвоздя пистолет и, бегло исследовав его, передал нам.

— Вот он, убийца Арса, — резко сказал он нам. — Взгляните, на его капсуле разбитый пистон, позеленевший от времени, и от его дула еще пахнет пороховой гарью. Взгляните, вот даже легкая копоть на стене — явный след его выстрела. Но не может же пистолет стрелять сам? Кто же взвел курок его? И кто спустил? Где одухотворенный убийца, воспользовавшийся этим оружием? Чрезвычайно загадочно!..

### III

Так говорил нам Лиденбаум, и я видел, как вздрагивали его пальцы и острым пламенем светились глаза. А мы все внимательно изучали тот пистолет — убийцу майора Арса. Между тем, лейтенант Линденбаум, бережно зачертив профиль Арса на наволочке подушки в том самом положении, в котором покоилась голова, распорядился пригласить доктора для вскрытия Арса. И это вскрытие вполне подтвердило еще раз нашу догадку. В мозге майора была обнаружена круглая крупная пуля, одна из тех, которыми наши отцы и деды стреляли на дуэлях из гладкоствольных пистолетов, вот такого же типа, как висевший под охотничьей сумкой над головой Арса.

Итак, отчасти загадки для нас более не было. Наш командир был убит именно из того оружия, которое висело над его головой. Но каким образом мог выстрелить пистолет? Мы пожимали плечами и недоумевали, в то время как наши сердца томило самое жуткое беспокойство. Мы с

неослабным рвением продолжали наши обследования. Впрочем, в этот день нам лишь удалось установить лишь то, что этот пистолет принадлежал отцу убитой девушки. Линденбаум, прямо и резко смотря в глаза мои, сказал:

— Значит, покойный граф пришел ночью с того света, чтоб в честном поединке убить майора Арса из своего старого пистолета? Так, что ли?

Я развел руками. И мы вскоре разошлись, словно придавленные странным происшествием, Впрочем, заперев на ключ ужасную спальню. А на другой день из подробного расспроса денщика майора Арса Линденбаум установил, что к майору десять дней тому назад, он, денщик, привозил погостить на три дня его сына, восьмилетнего мальчугана Вилли, жившего у своей тетки. И Линденбаум тотчас же откомандировал денщика за этим мальчиком. А еще через день перед нами уже стоял резвый мальчуган с веселыми и бойкими глазами — Вилли Арс. Обласкав его и, конечно, скрыв от него о смерти отца, будто бы уехавшего на восточный фронт, в страшную Россию, Линденбаум повел его в ту спальню, а мы все встревоженно последовали за ними. Там Линденбаум вынул из ящика комода тот страшный пистолет и показал его Вилли.

— Тебе знакома вот эта самая штука? — спросил он мальчика ласково.

— О, еще бы! — радостно воскликнул мальчик. — Это мой приятель и друг! Это — пистолет! Я его нашел в первый же день приезда на чердаке, в старом сундуке, под павлиньими перьями! Это — мой военный трофей!

— Ты им играл?

— Сколько раз! Охотился будто бы на буйволов в Камеруне! Весело было играть! Но, конечно, потихоньку от папы и от денщика Гофмана! — Вилли поджал губы.

— Почему потихоньку?

— Чудачина, а еще адъютант! — всплеснул руками резвый малыш. — А разве папа позволил бы мне играть настоящим заряженным пистолетом, или Гофман? Вы думаете, они позволили бы мне? Как бы не так!

— А ты знал, что пистолет был заряжен?

— Конечно, знал, чудачина вы! Это-то и было интересно!

— А курок у этого пистолета ты мог взвести? — спросил как-то осторожно Линденбаум.

— О, еще бы! И я взводил! Раз! — воскликнул мальчик, — потому что спустить курок я уже не мог. Я знал, конечно, как это надо сделать, но у меня, понимаете ли, не хватало силы! А я даже знаю, как надо стрелять из пушки! — хвастливо добавил мальчуган.

Линденбаум протянул ему пистолет.

— Взведи курок! — проговорил он.

Мальчик тотчас же, почти без усилий, взвел.

#### IV

— Теперь спусти, ну, хоть только попробуй!

Мальчик изо всех сил нажал на гашетку, напрягся, стал красным и даже высунул и закусил язык.

— Нет, это у меня совсем не выходит! — воскликнул он. — Что хотите делайте, не выходит! Но через год, конечно, я буду гораздо сильнее! И тогда я смогу из него стрелять! Ведь да? Мне же будет девять лет!

Линденбаум так же осторожно задал ему вопрос:

— А куда ты прятал этот пистолет?

— Сказать? — засмеялся Вилли. — Под охотничью сумку, на гвоздь, вот здесь!

И мальчик указал рукой на то место, где мы нашли его на каменном выступе.

Мы переглянулись, а Линденбаум побледнел и выслал мальчика вместе с Гофманом из спальни.

— Теперь мне открыты все обстоятельства этой загадки, — сказал он нам, — но мы проверим ее тщательным опытом. Итак, снова зарядим этот пистолет и повесим его на прежнее место, благо оно очерчено нами на стене, конечно, предварительно взведя курок. А после запрем спальню на ключ и будем ждать той минуты, когда пистолет выст-

релит. Ибо он выстрелит! А Гюфман придет и доложит нам тотчас же.

Линденбаум сделал все, что говорил, запер спальню на ключ, опустив его затем в свой карман, и, предупредив Гофмана, мы ушли. А ровно через шесть дней в три часа пополудни, когда мы, офицеры, обедали, Гофман пришел к нам и доложил:

— Пистолет сейчас выстрелил!

И, конечно, мы опять стремглав побежали в ту спальню. Быстро отомкнув дверь и склонившись сквозь синеватый пороховой дымок к подушке, Линденбаум твердо выговорил:

— И, конечно, пистолет прострелил и на этот раз то место подушки, где нами начерчен левый висок майора Арса. Опыт наш подтверждает мою догадку как нельзя лучше.

Он повернулся к нам бледным и строгим лицом.

— Итак, майора Арса, — так же твердо выговорил он, — убил вот кто. Целый ряд странных до жуткости случайностей, соединившихся воедино. Каждая из них делала свое дело, не сознавая, к, какому итогу она ведет, и потому здесь нет виновных. Здесь, без участия палача, приведена в исполнение самая настоящая казнь. Здесь налицо чудо. Сверхъестественное чудо. Ибо ряд совершенно невинных обстоятельств с математической точностью сложился здесь в роковой удар насмерть, в какую-то беспощаднейшую машину с веселыми глазами невинного младенца. Даже самое последнее и, пожалуй, решительное обстоятельство в этом ряду, это — то, что пружина спуска старого пистолета, в сущности, очень тугая, иногда самопроизвольно соскальзывала вследствие порчи механизма, и производила выстрел, не могла бы иметь решающего значения, если бы голова майора Арса *случайно* не свалилась с подушки как раз в ту минуту.

И лишь общий итог всех случайностей вкупе обуславливал здесь неминуемую смерть. И теперь я боюсь этого пистолета. Это беспощадное оружие рока, и, может быть, оно уже целит в голову кого-нибудь из нас, ибо мы все по-

винны в крови той девушки — сестры милосердия!

\* \* \*

Пленный лейтенант, допивая кофе, закончил:

— И молодой ученый астроном лейтенант Линденбаум не ошибся. Через двенадцать дней он застрелился из того же самого пистолета, оставив на своем столе коротенькую записку:

«Умираю, потому что не хочу участвовать более в этой подлой бойне. Похороните меня в ногах той девушки».

Мы исполнили просьбу погибшего.

## ВИДЕНИЯ ОДНОЙ НОЧИ

### I

Город во тьме. И ужас бродит по мутным улицам города. На днях я видел его дикое лицо своими глазами. Или вся эта удивительная картина была лишь работой моего измученного воображения? Все может быть. Вот уже два года я живу в какой-то хирургической палате, где беспрерывно производятся кровавые операции. И доктор давно уже предостерегал меня, внимательно заглядывая в мои глаза:

— Не читайте газет. Не ходите на драму. Избегайте волнений.

Милый доктор! Не лучше ли было бы сказать проще:

— Не живите!

В самом деле, ваше «избегайте волнений» очень похоже на злую шутку. Кому преподан этот совет? При каких обстоятельствах? Щепке, выброшенной в море во время жесточайшей бури? Не так ли?

А снимая квартиру в хирургической палате, конечно, так нетрудно расстроить воображение, Есть зрелища, которыми нельзя злоупотреблять безнаказанно. Которые мстят человеку за себя.

Впрочем, постараюсь придерживаться в моем рассказе хотя какой-нибудь последовательности.

Я, жена и наш шестилетний сын, все мы сидели в низкой комнате сырого и темного подвала. В комнате было тускло, но мы не зажигали лампы. Огонь мог бы привлечь выстрел. Кого? За что? Мы ничего не знаем об этом. В то же самое время окна нашей комнаты были заставлены мебелью и заложены тюфяками. А кровать нашего сынишки, бережно задвинутая в угол, под прикрытые двух стен, с третьей стороны была вся загорожена сундуками и чемоданами. Мы все боялись, что шальная пуля пристрелит нашего ни в чем не повинного крошку.

— За что?

Этот вопрос неотлучно стоял за нашими спинами, как наша собственная тень. Что мы могли на него ответить?

В улицах вот уже шестой день ревели пушки, и каменные стены домов сердито сотрясались от этого злобного рева их железных глоток. Железные чудовища точно с остервенением лаяли на эти каменные глыбы, а каменные глыбы будто отвечали им сердитым рычанием, сотрясаясь. И сотрясался мозг в моем черепе. Дважды я видел, как над узким ущельем улицы рвалась шрапнель. Будто страшный призрак на минуту раскрывал свой кровавый глаз, пролетая над улицей, и затем дико взвизгивал в дьявольском хохоте. И когда он хохотал, люди падали, как скощенные, корчась в судорогах.

Помню, услышав впервые этот вой, я вскрикнул что-то нелепое и дикое.

И все помутилось в моих глазах, будто улицы города застлало удушливым дымом. Я опять вскрикнул, бросаясь к первому прохожему, будто ища у него защиты. Но тот испуганно отшатнулся от меня. Чего он испугался? Ужели мой вид в ту минуту...

## II

Это меня рассердило. Я резко повернулся от него и быстро пошел домой. И, переходя из улицы в улицу, из одного мутного русла в другое, как щепка, влекомая бурным потоком, под этот беспрерывный вой железных псов, под вопли людей и шорох каменных глыб, будто стучавших зубами, я все думал и думал, блуждая вокруг одной и той же точки, как соломинка в водовороте. Впрочем, я все отклоняюсь в сторону, путаясь среди этого жуткого лабиринта. Еще раз попробую быть последовательным.

Итак, я и жена сидели у маленького столика в этом подвале, в этой нашей новой квартире, куда мы перебрались

после того, как наша прежняя была разрушена пушечным снарядом.

Мы вполголоса переговаривались и порой беспокойно прислушивались к тому, что творилось на улице. А наш сынишка беззаботно возился в своей постельке, пыряясь с подушкой и любовно переговариваясь с нею, как с живым существом. Дети — не взрослые. Они и мертвых наделяют жизнью, в то время как взрослые превращают в трупы живых.

Когда пушечный рев стих, мы решились, наконец, зажечь лампу. Лицо жены несколько просветлело. И вместе с лампой и столиком мы перебрались в уголок к нашему сынишке. Наш крошка и не думал о сне, отоспавшись за день, и нам хотелось поболтать с ним немного, чтобы рассеять несколько этой болтовней зловещий кошмар, окутывавший души наши.

Но тут произошло нечто необычайное. Впрочем, что есть необычайное?

Едва мы только расселись у постельки сына, пушки вновь рывкнули отрывисто и резко. Вероятно, где-то близко дали залп. И этот рев был так оглушителен, что стены дома дрогнули, как бы зашатавшись на своих основаниях, а вещи, загораживавшие одно из окон и постельку нашего крошки, стремительно посыпались вниз, как камни взорванной скалы. Мы оцепенели на своих местах; и в тот же миг мы услышали, как где-то совсем рядом шелкнул ружейный выстрел. Осколки разбитого стекла посыпались на пол, и подле наших ног ударила в пол пуля. Мы вскочили со своих мест. Жена же тотчас потушила лампу, а я, как был, бросился в дверь на улицу, чтобы разрешить мучительную загадку. Беспокойная мысль вновь заклокотала во мне. Мне было ясно, что выстрел был сделан умышленно. Стрелявший хотел убить одного из нас. Кого именно? Меня, жену, сына? Для чего? Для каких целей? Ужели стрелявший хотел совершить беспечное убийство? Убийство ради убийства? Тихонько потянув к себе калитку, я выглянул на улицу. Там было темно и холодно. Фонари не горели. Каменные дома стояли рядами, неподвижные и молчаливые, без

единого огонька в окнах, и их стекла мутно и странно светились в тусклой мути улицы, как слепые глаза. На улице не было видно ни души. Пушки не ревели больше. Беззвучная тишина сковывала воздух, будто весь проникнутый каким-то острым запахом, возбуждавшим во мне беспокойство и тоску. Я весь выдвинулся из-за калитки, вглядываясь в туманную муть и прислушиваясь. И тотчас же я едва не отпрыгнул назад.

### III

Однако, я заставил себя остаться на месте, напрягая все свое самообладание. Дело в том, что я увидел в слуховом окне трехэтажного дома напротив как бы мелькнувший огонек, будто кто-то мне невидимый курил там папиросу, стараясь быть скрытым от постороннего глаза. И вместе с тем я с отчетливостью увидел там же слегка и осторожно выдвинутое из слухового окна ружейное дуло, тускло мелькнувшее в сумраке. Это дуло слегка передвигалось, то уклоняясь вправо, то перемещаясь налево, будто темная дыра окна разыскивала кого-то своим хоботом. Я дрогнул. И прежде, чем я успел отдать себе отчет в том, что происходило, снова резко хлопнул ружейный выстрел. Пуля ударила возле меня в фундамент дома и, вероятно, делая прыжок в сторону, протяжно простонала. А темное отверстие того слухового окна снова втянуло в себя ружейное дуло, осторожно и медленно, как туловище насекомого втягивает в себя жало.

Я же тихо повернулся и пошел к себе домой в мрачный подвал, похожий на нору.

— Ишь ты, — шептал я сосредоточенно, одними губами.

То, что я увидел, как бы нисколько не поразило меня. Я, видимо, уже потерял способность удивляться. И если бы каменные дома улицы скрестили в дикой схватке, как мечи, свои водосточные трубы, из моего горла все же не вырывалось бы ни единого возгласа удивления. Однако, когда жена уснула, примостившись рядом с постелькой сына на

двух сдвинутых креслах, я снова вышел на двор. И, открыв калитку, я выглянул на улицу. Там по-прежнему было тихо и сумрачно, и по-прежнему на меня пахло чем-то жутким и мучительным от этой необычайной тишины будто бредившего города. Я взглянул туда, на слуховое окно. И на его темном фоне теперь я увидел бледное лицо человека. Человек этот, выставив из окна голову и опираясь щекой на ладонь, как будто напряженно раздумывал о чем-то. Я тихонько кашлянул. И тогда тот медленно повернул голову, вглядываясь в меня. Я весь шевельнулся под этим взглядом и тихо двинулся к нему навстречу, не спуская глаз со слухового окна. Впрочем, на полдороге я остановился, будто скованный внезапной робостью. И тогда я услышал шепот того, глядевшего на меня:

— Ты чего же стал? Иди же ко мне!

Он несколько помолчал и добавил:

— Я ведь не укушу. Сейчас отошло от меня то! Слышишь?

— Зачем я пойду к тебе? — внезапно спросил и я шепотом же, чувствуя прилив смертельного озноба.

Губы того как будто криво раздвинулись.

Я услышал:

— Как зачем? Ведь надо же тебе узнать — то, зачем я в тебя давеча стрелял?

— В меня? А раньше в моего сына? — снова спросил я того, в то время как мое тело будто все расторглось kloкoтaвшими в нем ощущениями, острыми и могучими.

— Ведь ты же? — вскрикнул я. — Сознайся: ведь ты же?

Тот лениво кивнул головой.

— А раньше в твоего сына, — невозмутимо согласился он.

Все мое существо неудержимо сотряслось от этих слов, будто превращаясь в пламень и бурю.

— Ты же? — снова выкрикнул я, изгибаясь.

— Я же, — ответил тот, равнодушно и холодно, словно вырубая свой ответ из ледяной глыбы. — Я же!

Я бросился бегом через улицу, проскочил в калитку и по темной лестнице устремился на чердак, будто увлекаемый неодолимой волной.

Перед дверью чердака, впрочем, я несколько замешкался. Когда, наконец, я отворил дверь, тот незнакомый мне все так же глядел в окно, не обращая на меня ни малейшего внимания, будто занятый своими собственными мыслями. Я сделал несколько шагов, сел на какой-то перевернутый вверх дном ящик и огляделся. Очевидно, тот, незнакомый, уже давно занимался своим ужасным делом: охотой на людей. И он приспособил этот чердак себе под жилье. В двух шагах от меня, у изгиба дымовой трубы, прямо на землю был брошен неряшливый тюфяк, накрытый до половины шубой из черной овчины. Рядом был поставлен табурет, на котором размещались: фонарь с зажженной восковой свечкой, краюха ржаного хлеба и хлебный ножик с отломанным концом. Возле табурета стояло ведро с водой, так что свет от фонаря мигал на поверхности воды тусклой звездой. А еще дальше на полу лежали длинное одноствольное ружье и потертая сумка с патронами. Между тем, я все молчаливо сидел на ящике и с жутким чувством оглядывал все эти вещи. Все эти вещи охотника за людьми! Охотник за людьми, — это сознание будто увлекало меня на дно какого-то мучительного омута.

— Ну, ты, — проговорил вдруг я резко, — охотник за людьми! Чего же ты в окно-то глядишь? Или не видишь, что я пришел!

— Для ради опроса? — отвечал мне тот равнодушно и вяло, не переменяя позы и только слегка повертывая голову, так что я увидел кончик его носа. — Для ради опроса? И ты тоже, — добавил он затем, — чего раньше-то боялся идти? Во всем доме ни единой живой душеньки нет, только вот я да кошка, вон там, за трубой. Разбежались все жильцы. От сотрясения вселенной, — опять добавил он через минуту.

— А ты мне зубы-то не заговаривай, — крикнул я злобно. — Ишь! В людей стреляет, в людей! И потом будто не он. «Все жильцы разбежались, за трубой кошка!» Я о кошке пришел тебя спрашивать? Ну?

Тот как будто бы усмехнулся. Из его горла, по крайней мере, вырвался неопределенный отрывистый звук, точно он поперхнулся от нервного смеха.

— Чудак-человек, — проговорил он, — кто о чем, а он все о том же. И веришь ли, когда сотрясались Магор и Содом (он хотел сказать, вероятно, Содом и Гомора), когда Магор и Содом сотрясались, единожды произошел вот такой же точно случай, как и с тобой...

— Ну? — перебил я его резко.

— Понимаешь ли, храмы богов падали в подземные проруби с треском и дымом. Храмы богов! А между прочим, один воробей той же минутой жаловался вот так же, как и ты: «Так и так, у меня в левом крылышке, дескать, два пера опалило, — почему и за что?»

Меня будто кто толкнул с моего места; я быстро подбежал к тому, схватил его за шиворот и с силой оторвал от окна.

— А кто дал тебе это право, — кричал я, потрясая его и пригибая к земле, — кто тебе дал это право приравнять человека к воробью? Кто?

Я с силой бросил его на землю. Он даже не пошевелился и остался сидеть на том же месте и в том же положении, в какое поверг его мой толчок. В то же время свет фонаря ударил ему в лицо, и я увидел желтое с редкой бородкой лицо, мутные беспокойные глаза и широкий рот, растянутый в какую-то нелепую усмешку. Весь его вид внезапно и больно толкнул меня в сердце, и тотчас же мое внимание привлекли на себя его руки. В то время, как он оставался неподвижным, эти руки беспокойно и непрерывно блуждали вокруг него, точно разыскивая что-то. И все, что случайно подвертывалось им, был ли это лоскуток бумаги или затоптанный окурок папиросы, все немедленно с беспокойной жадностью разрывалось ими на мельчайшие кусочки и отшвыривалось затем прочь брезгливым и поспешным движением.

И мне было ясно, что если бы под эти жестокие руки случайно попало живое тело человека, они так же разодрали

бы и его с той же беспокойной жадностью, а затем брезгливо отшвырнули бы его прочь.

Все во мне безмолвно вскрикнуло:

— Сумасшедший!

Я сказал, склоняясь к его лицу, похожему на маску:

— Ты болен, ты тяжело болен!

Он глядел на меня во все глаза, беспокойно выщипывая вату из-под подкладки своего пальто, и молчал. Я притих тоже, будто замороженный необычным зрелищем.

## V

Наконец, тот заговорил, сводя лоб в поперечные морщины и, видимо, делая над собой усилие, чтобы привести в порядок свои мысли.

— Когда сотрясается камень, — заговорил он, — мудро ли, если мозг человеческий и сердце человеческое дадут трещины, — как ты думаешь? Он пожевал губами и добавил: — Видишь, я не уклоняюсь от правосудия. Сознаюсь: бывают минуты, когда мысль треплет бурей. То есть наподобие буквального недуга. Но бывают и минуты здравомыслящей ясности и полной трезвости положения. И в эту минуту полной трезвости я скажу тебе вот что. Слушай! Вот что именно.

Он замолчал, видимо, делая над собою усилие, чтобы сосредоточить свои рассеиваемые бурей мысли. Его желтое, изнуренное этой бурей лицо, раньше неподвижное, как картонная маска, теперь все шевелилось, будто на его лице не было ни единой неподвижной точки. Морщины бегали по нему беспрерывно, как зыбь на взбудораженном озере. И он сидел и молчал, весь поглощенный своей работой. На чердаке стало тихо. Железные скаты крыши низко и шатрообразно висели над нами. Желтый глаз фонаря, не моргая, глядел в мое лицо. Да мутная звезда шевелилась в ведре с водой.

— Так, — наконец, проговорил тот, видимо, подводя итог своим соображениям, — так.

Он глубоко вздохнул.

— Исходную точку моих соображений, — витиевато начал он затем, — обозначу вот таким вопросом. Чем первобытный человек, то есть тот, который бежит нагишом по лесу и жрет живых ящеров, отличается от человека нашего времени, состоящего при полной обмундировке, при водопроводе, электрическом освещении и даже при граммофоне? Чем? Ответь по совести. Слышал: по совести!

Он поднял на меня глаза, усталые и мутные. Я шевельнулся.

— Это я пришел к тебе для опроса, — отвечал я уклончиво, — а не ты ко мне. Ведь подсудимый-то ты!

Я с язвительностью улыбнулся. Удары бури, беспорядочно трепавшие мысль того человека, как будто передавались и мне, и я часто говорил не то, что мне хотелось.

— Отвечай! — крикнул мне тот злобно.

Я сказал с расстановкой, видимо, подчиняясь ему:

— Современный человек отличается от дикаря главным образом вот чем: наивысшим развитием всех своих духовных сил, знанием и наукой.

— Наукой? — переспросил тот.

— Наукой, — ответил я с решительностью.

Лицо того все задрожало от презрительного смеха.

— Цельный год мы читали сами об этой твоей науке, — проговорил он, будто давясь от презрительного смеха, в то время как его лицо сводило в одну брезгливую гримасу. — Читали цельный год о твоей науке, и вот что именно: «Установлено, что броненосец погиб, натолкнувшись на пловучую мину». «Отступавшие полки буквально таяли под шрапнельным огнем». «Благодаря бездымному пороху, батареи противника не были открыты нами и наносили нам тяжкий урон». А что это значит: «тяжкий урон»? Тысячи исковерканных человеческих тел, — сам же ответил он себе. — А «натолкнулся на пловучую мину»? Тысячи исковерканных человеческих тел. А «таяли под шрапнельным огнем»? Тысячи человеческих тел. Вот что все это собой обоз-

начает. И все это дело науки, отличающей дикаря от человека «с наивысшим развитием всех своих духовных сил», — передразнил он мой тон.

И он замолчал, тряся головой и весь захлебываясь от безудержного смеха, более похожего на нелепый визг. Потом он вдруг встал на ноги, весь склонился ко мне, опираясь руками в свои колени, и выкрикнул мне в лицо:

— Подлость — твоя наука! Одна беспросветная подлость!

Его будто кто с силой толкнул от меня, и он повалился на тюфяк с хриплым клокотанием в горле.

## VI

Я неподвижно сидел на ящике и смотрел на него, пока он мучился в этом припадке скорби и злобы. Между тем, он наконец, оправился и сел на тюфяк, подбирая колени к груди, утомленный и желтый, в то время как его руки вновь беспокойно зашарили вокруг, разрывая и уничтожая все, что подвертывалось им.

— Человечество бродит во тьме — вот истина, — проговорил он затем, собирая все свое лицо в складки и, видимо, вновь пробуя сосредоточиться. — Бродит во тьме. С тех самых пор, когда человек провозгласил за религию служение своему ближнему, наука должна или стать религиозной же, то есть служить для ради счастья человека, или отравить себя на кладбище!

— Ты все отклоняешься в сторону, — перебил я его резко и грубо. — При чем же тут твоя охота на людей? И кто тебе дал это право?

— И вовсе не отклоняюсь в сторону, — возразил мне тот, — сделай милость проследить маневрирование моей мысли! Сделай такую милость! Прошу! — отрывисто выкрикивал он.

— Ну? — поторопил я его тем же резким тоном.

Он зажмурил глаза, потом снова раскрыл их и продолжал:

— По моему искреннему суждению, — медленно вытягивал он слова, — все различие между дикарем и нынешним человеком заключается вот в чем: дикарь живет согласно со своей религией. А современный человек в полном разладе с собственной своей.

— Ну? — снова поторопил я его, как будто заинтересовываясь.

— И, провозглашая некоторые законы, — продолжал тот с той же медлительностью, — как заповеди самого Бога, современный человек тотчас же попирает их самыми грубыми сапогами. То есть опровергает их практическим делом в соприкосновении с жизнью. Например, — повысил он голос, видимо возбуждаясь, в то время как его желтое лицо покрылось розовыми пятнами. — Например! Что есть вот этот закон: «Не убий»? С точки зрения современного человека? Так вот: что есть «Не убий» с этой точки? Заповедь Бога или же каприз случая? Ну-с?

— Заповедь Бога, — сказал я твердо.

— С точки зрения современного человека?

— С точки зрения современного человека, — отвечал я с непоколебимой твердостью. — «Не убий» есть заповедь Бога.

— С точки зрения современного человека? — снова повторил тот, волнуясь. — Ложь!—вдруг дико выкрикнул он, и его лицо свело в брезгливую и злобную гримасу. — Ложь! «Не убий» есть заповедь Бога только с точки зрения религии. А с точки зрения современного человека и его жизненного обихода это каприз случая!

— Бредишь ты! — крикнул я ему в лицо, приподымаясь с своего места и весь содрогаясь от охватывавшего меня негодования.

— Каприз случая! — упрямо выкрикнул и тот, между тем как его лицо словно все колебалось от страшного беззвучного смеха. — Каприз случая?

Меня будто ударило в голову, затемняя зрение. Я подбежал к нему, схватил его за пальто у самого горла, встряхивая его, как мешок. Он взмахнул руками, и его мутные глаза, полные беспредельной тоски и ужаса, уперлись в мое лицо.

— Вижу я, — вырвалось у него стоном, — вижу я! Ты тело мое готов разорвать своими руками! Ты — защитник заповеди Божией «Не убий»!

Скорбь и тоска ушли из его глаз, и они облили меня брезгливостью и презрением.

— Хорош защитник! — услышал я.

Моя рука соскользнула с ворота его пальто. Я быстро повернулся и ушел на прежнее мое место,

— Откуда ты делаешь этот вывод, — тотчас же спросил я его затем грубым голосом, сам удивляясь этой неестественной грубости. — Откуда ты делаешь этот вывод? То есть, что для современного человечества заповедь «Не убий» есть только каприз случая?

— Каприз случая и пустопорожний самообман, — поправил он меня с своего тюфяка с торжественностью.

Он уже сидел там в прежней своей позе, точно наш разговор не прерывался ни на минуту. И его руки с той же беспокойной жадностью разрывали на мелкие кусочки мятый газетный лист, извлеченный из-под табурета.

— Почему? — спросил я его снова.

Он молчал, попеременно поглядывая то на меня, то на этот газетный лист, уничтожаемый им с такой жадностью.

## VII

— Почему? — наконец проговорил он, весь выдвигаясь ко мне. — А вот почему. — Он собрал все свое лицо в складки, как старик, пожевал губами и сухо кашлянул.

— Если бы современное человечество, — начал он затем, — почитало закон «Не убий» за истинную заповедь истинного Бога, то оно всегда должно было бы считать нарушение и попрание этой заповеди за беззаконие. Всегда и при всяческих обстоятельствах! Однако, так ли поступает современное человечество, столь отличающееся от дикаря наивысшим развитием всех своих духовных сил? Знанием и наукой! — снова передразнил он мой давешний тон. —

Так ли?

Он упорно глядел на меня своими мутными глазами, теперь снова выражавшими тоску и скорбь.

— Нет! — вскрикнул он с дергающимися губами. — Нет! Современный человек и даже во всех христианских державах убийство через палача почитает уже не за беззаконие, а за правосудие. Видел я, видел своими глазами и уже сколько раз!

— Ну?

— Ну, и выходит — человек существует на ложном пути. Во тьме ада! В полнейших преддвериях ненавистничества!

— И опять при чем же тут твоя охота на людей? — вскрикнул я в неистовстве.

Он слабо усмехнулся и долго молчал, поглядывая на меня со злобной презрительностью.

— А почему бы мне, или кому другому, и не охотиться? — спросил он меня затем. — Если заповедь Божеская стерта до последней буковки? А? Если убийство для одних есть только привилегия некоторых, а для других — средство для осуществления мыслей. Пусть, по крайней мере, видят тогда все, можно ли жить без божеских указаний. И к чему приводит такой оборот понятий! Посмотрят, и, может быть, глядишь, обернутся, то есть, к заповеди Бога! Все!

— Изувер! Маньяк! Сумасшедший! — крутилось в моей голове.

Но неожиданно для самого себя я выкрикнул:

— Так ты еще своими убийствами учить человечество хочешь? Учить! Учить! — выкрикивал я бешено, порываясь к нему в каком-то необузданном вихре.

Я снова хотел схватить его за ворот, но он с силой толкнул меня в грудь. Я сделал резкое движение назад, едва устояв на ногах.

— Ты вот, который раз трясешь меня за ворот, — между тем сказал тот, впрочем, флегматично и вяло. — По какому такому самоуправству? И судопроизводству? А?

— Я вот сейчас покажу тебе судопроизводство! — вскрикнул я, будто подхваченный вихрем.

— А не хочешь ли, тебе покажу его я, но только наоборот? Или толкну тебя вот этой самой долговязкой? — Он криво и жестко усмехнулся, кивая на свое длинное ружье, и его лицо снова стало похоже на каменную маску.

Я оцепенел на моем месте, и увидел тотчас же, как в его руках тускло мигнул длинный ружейный ствол. В тишине ясно и отчетливо щелкнул затвор. Послышался лязг патрона о железо ствола. И вдруг в моем отуманенном сознании подобно молнии родилась мысль, слепя мои глаза и распирая мою грудь новыми и могучими ощущениями.

— Послушай! — крикнул я ему.

— Ну, — шевельнулся тот лениво, как насосавшаяся крови змея.

— Послушай! — снова крикнул я. — Современный человек и христианин отличается от дикаря вот чем. Дикарю неведом целый ряд ощущений: радости жертвы. А современный человек только ими и жив!

— Ну? — поторопил меня тот, шевеля ружьем.

— Ну, и я вот говорю тебе, — говорил я в возбуждении, — убей меня хоть сейчас, и я не ударю палец о палец, чтобы обеспечить себе спасение. Но ты дай мне клятву, что это твое убийство будет последним! Слышишь ли ты? Последним! И после моей смерти ни единый волос человеческий не погибнет от твоей руки! Слышишь? Дай мне клятву!

— Чем поклясться-то? — пробормотал тот, как бы недоверчиво.

— Светом заповедей Божеских!

— Клянусь.

— Светом заповедей?

— Заповедей Божеских, — повторил тот с лицом, неподвижным, как маска.

— Теперь стреляй, — крикнул ему я. Он приложил ружье к плечу. Я изо всех сил уперся ногами в землю, будто готовясь к удару кулака, а не к сокрушительному удару свинца, железа и пороха.

— Стреляй же теперь,

Он прицелился. И отвел ружье от плеча.

— А если я не исполню клятвы? — вдруг спросил он меня.

— Ис-пол-нишь! — крикнул я членораздельно. — Ис-пол-нишь. Если поклялся! — Он снова прицелился, щуря глаз. И снова отвел ружье от плеча.

— Не мучь! — простонал я. — Убивай, но зачем же издеваться?

Но тот все смотрел на меня, будто впиваясь в меня своими мутными глазами, словно желая проверить искренность моих ощущений. И затем его похожее на безжалостную маску лицо внезапно дрогнуло. Он с силой швырнул от себя прочь свое долговязое ружье и повалился на тюфак. Его грудь судорожно заколебалась.

— Жертва вечерняя! — выкликал он каким-то тоскующим воем. — Ты — единый светлый сон! Зачем Ты отвернул всевозлюбившее лицо Твое от меня, буйного вепря!

Я на цыпочках подошел к нему. Его глаза были закрыты, а по его желтым щекам текли мутные слезы, будто рожденные таявшим в нем льдом. Затем я взял его сумку с патронами и подошел с ней к слуховому окну.

— Можно? — спросил я его, показывая жестом, что я хочу бросить туда эту сумку. Он не отвечал ни словом. Я лукнул в окно сумку, насколько у меня хватило сил. Следом за ней я отправил и ружье. А затем я стремительно бросился вон, к выходу.

— К доктору! К доктору! К доктору! — будто кто кричал в мои уши.

## VIII

Морозный воздух приятно опахнул лицо мое, но мутное ущелье темной улицы напомнило мне тотчас же все с поразительной ясностью; все ужасы похожей на бред действительности и бреда, похожего на действительность. Все снова бурно закрутилось в моем сознании, обдавая мое лицо пламенем.

— К доктору! К доктору! — мысленно кричал я себе, не отдавая ясно отчета, кому нужен этот доктор: тому ли неизвестному, бодрствующему у слухового окна, или мне. Или же нам обоим.

Я устремился темной улицей, порой бессмысленно толкаясь в неизвестные квартиры, куда меня даже не впускали или откуда меня тотчас же осторожно выпроваживали. И я устремлялся вновь в свое безвестное путешествие по темным улицам, будто увлекаемый неведомым течением. И недавно виденные мною лица неизвестных мне людей мелькали передо мной как будто в каком-то тумане, сплетаясь в причудливые хороводы. И меня бросало в тоску и смертельную скорбь от этого зрелища.

— Убийство не может быть ничьей привилегией! — вдруг проговорил я вслух стонущим голосом. — И не может служить средством ни для высоких, ни для низких целей. Ибо такая точка зрения, — вскрикнул я, — родит изувера, охотника за людьми! Вот я уже вижу его рождение на мостовых, обогранных кровью!

Я выскочил на середину улицы и, размахивая руками, крикнул мутным и слепым окнам:

— Камень сотрясается, чтоб родить зверя!

Два человека показались из-за поворота улицы, и фигура одного из них, низенькая и сутулая, отчетливо врезалась в мое сознание. Он подошел ко мне и взял меня за пуговицу.

— Если и камень сотрясается, — сказал я ему, — как выдержать мозгу человека?

Низенький заглянул в мои глаза, потом вынул из своего кармана темный пистолет и показал мне его.

— Ты думаешь, я стрелял из него в людей? — спросил он меня. — В полено березовое я стрелял из него. Там, на дворе! Все восемь пуль всадил. А потом пожалел: полено хорошее было, к чему, например, испортил?

И он вдруг швырнул свой пистолет к моим ногам.

— Не нужна мне эта падаль, — проговорил он с брезгливостью и побежал догонять своего спутника.

Я отшвырнул пистолет ногой прочь.

— А ты бы шел лучше в больницу, — крикнул мне низенький от угла. — Через два квартала, за угол налево! В больницу.

Я подошел к воротам соседнего дома и прислонился спиной в простенок.

— В больницу! В больницу! — крутилось в моем сознании.

Я услышал за моею спиной разговор, где-то там, на дворе, окутанном мутию. Говорили два голоса, один молодой и свежий, упругий и зеленый, как камыш. Другой с хрипотцой и, видимо, поврежденный вином.

— Ну и дела, — вздохнул молодой голос.

С хрипотцой отвечал:

— Чисто тебе столботворение Вавилонское! Как в ветхом ковчеге.

— Н-да-а!

— Это у них политическое междометие, — проговорил с хрипотцой лукавым тоном. — Энти стоят за придержание существующего беспорядка, а те за подражательность, как в американских присоединенных штатах.

— Н-да-а!

## IX

Я взглянул на небо и увидел там на ясной лазури в сочетании золотых звезд:

— Я жизнь, а не смерть. Я прощение, а не убийство!

— В больницу! В больницу! — кто-то будто сказал мне.

Прежнее чувство снова бурно и больно толкнулось в моей груди, и я бросился бежать. Я пробежал одну улицу, завернул в другую и третью. И там я увидел костер, мерцавший посреди улицы, как огненный цветок. Темные профили людей с ружьями и саблями грели около огня руки. Я подошел к ним, сел у огня и стал, как и они, греть свои руки.

— Человека жалко! Вот в чем вся суть! — сказал я им и вдруг заплакал.

Бородатый и с серьгой в ухе заглянул в мое лицо и хмуро сказал своему соседу, безусому и в веснушках:

— Умалишенный! В мозговых плодушариях затвор порчен! Сколько их в такую ночь ходють! Жалости подобно! Цыц! — вдруг крикнул он на топтавшуюся лошадь.

— Всего насмотришься за ночь! — вздохнув, отвечал тот.

Я все сидел и плакал.

— Сидоренко! — сказал тогда с серьгой безусому. — Дай ему под усы фляжку. Может, ему отойдет! На пользу!

Я ощутил у своих губ стекло фляжки и сделал несколько жадных глотков.

— Хорошая вода, — проговорил я, сотрясаясь от плача. И я услышал:

— Еще бы не хорошая! Монополька чистейшей пробы!

Говорившего вдруг точно отшвырнуло от меня.

Где-то совсем близко внезапно хлопнул выстрел, и затем рывкнула труба.

— Засада! — послышался чей-то взбудораженный крик.

Те, с ружьями и саблями, бросились к лошадям и я остался один у костра.

Я нехотя поднялся на ноги.

— К доктору! К доктору! — крикнул я.

Резкие хлопки переплелись с сердитыми возгласами, и воздух засвистел вокруг меня. Я повалился на снег. Мне почудилось, что свинец вошел в мое тело и крикнул мне:

— Смерть!

Я увидел лазурь неба, и все помутилось затем передо мной. Однако, я сделал усилие и открыл глаза, но увидел уже не небо, а потолок. Напрягая все свои силы, я снова сделал усилие, чтобы раскрыть смыкавшиеся веки. И теперь я увидел уже другой потолок с медной висячей лампой. Я закрыл глаза, вдруг с удовольствием отдаваясь подхватившей меня волне.

— Сколько их, раненых случайным выстрелом? — услышал я у самого уха.

Но мне еще раз пришлось встретиться с тем страшным и неведомым, приглашавшим меня к себе из слухового окна.

Когда меня с перевязанной грудью подвозили к подъезду моей квартиры, из настежь распахнутых ворот дома напротив трое людей выволакивали, труп. Я увидел желтое лицо и крупный, как бы растянутый рот.

Это был тот! Тот!-

Когда убили его? В минуты его раскаяния?

Кто?

## ЧЕРНЫЙ БУЙВОЛ

Грудь тяжело сдавливало, и ноги холодели до судорог в икрах, до тупой ломоты в кончиках пальцев. Безотчетно хотелось проснуться, чтобы прекратить бессмысленную попытку. Но сон не поддавался усилиям. И я спал и видел во сне.

Тучи, оранжевые и продолговатые, похожие на жирных, прожорливых гусениц, ползали по краю неба, извиваясь в шевелящиеся груды. А я шел на тот выгон, где весной цветут розоватые цветы бобовника; и я медленно поднимался к нему по отлогому скату оврага. Я ужасно торопился, потому что я заранее знал, какую картину увижу на том выгоне, но ноги мои невероятно скользили, словно я поднимался на ледяную гору; и каждый шаг требовал тяжелых усилий. Порой, сделав руками отчаянное движение и весь накрываясь вперед, чтобы ускорить свое восхождение, я срывался и полз на животе вниз. И трава ската, свежее-зеленая и жестко шуршащая, как стекло, впивалась в кожу моего лица ледяными занозами. Со стоном я цеплялся за эту мертвую и холодную траву, больно изъязвляя уколами мои руки, кое-как поднимался затем на ноги и опять шел, скользя, спотыкаясь и мучительно тоскуя. Работая локтями и всем туловищем, как червяк, брошенный в воду, я, наконец, выполз на тот выгон. И тогда ветер, шумно шарахаясь мимо моего уха, гневно взвизгнул:

— Ну и гляди, когда хочешь!

— Гляди! — прошуршала трава ледяным шорохом.

Но я зажмурился, чувствуя себя еще недостаточно сильным для этого. Меня окружила непроницаемая тьма, разрываема лишь сердитым гулом ветра и жестким скрипом трав. И я больно морщил лицо, плотнее смыкая веки, ничего не желая видеть. Когда я, наконец, раскрыл глаза, я долго не мог разобрать ничего, кроме оранжевого света туч, похожих на гусеницы и наполнявших все колебавшееся передо мной пространство. А потом я увидел его, черного буйвола. И он был именно таков, каким я его рассчитывал увидеть. Но я все же оробел. Сделал даже попытку снова

закрыть глаза. Однако, упрекнув себя за малодушие, стал смотреть. Тот буйвол стоял в полуверсте от меня, но в оранжевом свете туч я видел его прекрасно со всеми мельчайшими подробностями его длинного туловища.

Это был огромный черный буйвол, жирный, весь лоснящийся, с широкими складками на шее, с большими и круглыми, выпуклыми глазами. Его бархатистая шкура до того лоснилась, что в ней, как в черном зеркале, отражались колебания оранжевых туч. Видимо, его выпайвали целыми веками, тысячелетиями и, очевидно, он обладал прямо-таки сказочной силой. Посреди зеленого выгона в оранжевом свете туч он вырисовывался как огромный монумент, как каменное изваяние могущественного идола, гордого сознанием своих непреодолимых сил. Между тем, я глядел на него во все глаза, а он лениво и медленно, наклонив свою огромную голову, пощипывал зеленую траву, звонко хрустевшую на его желтых зубах.

Заламывая руки, я вскрикнул:

— Ну да! Ну да! Ты силен и неодолим. Ну да!

Он даже не повернул на мой окрик своего спокойного глаза. А я тотчас же тоскливо увидел: вот выбежали из-под ската семеро ребятшек, юрких и белоголовых. Приблизившись к черному буйволу, они стали поддразнивать его, чуть прикасаясь к его лоснящейся коже тоненькими палочками и порой выкрикивая что-то веселыми и звонкими головами, еще такими наивно-младенческими и задорными. Я весь мучительно встрепенулся, уже ощущая грядущий ужас. И я не ошибся. Вдруг, покрутив короткой и сильной шеей, черный буйвол сделал два шага, и двое из ребят, самых близких и неувертливых, очутились под копытами его передних ног. Мучительный ребячий вопль разодрал тишину выгона пронзительным звуком, и из-под копыт буйвола, увязших в раздавленных животах ребят, просочилась широкая кровавая струя. Оранжевые тучи заколебались над выгоном, будто извергая клубящийся дым, а я, выставив вперед обе руки, стремительно бросился к погибающим.

— Свершилось! Свершилось! — сердито гудел ветер.

Пав на колени, я склонился над бледным личиком одного из раздавленных и тотчас же узнал в нем моего сына Володечку. Но не таким, каким он был сейчас, а каким он был двенадцать лет тому назад, когда ему едва исполнилось восемь лет и когда я сам повел его к первой его исповеди и к первому причастию. Под черною ногой буйвола он лежал с раздавленным животом. И весь его нарядный костюмчик, такой чистенький и опрятный, был залит его младенческой кровью.

— Володечка! Володечка! — крикнул я, поймав на себе мутный и останавливающийся взор моего ненаглядного сынишки.

— Раздавленный черным буйволом! — шепнул возле ветра. — За что?

— За что? — выкрикнул я, бессильно задыхаясь.

Схватив изо всех сил лоснящуюся, черную и жирную ногу буйвола, до колена осыпанную кровавыми крапинами, я пытался приподнять ее, чтобы освободить из-под нее корчившееся тельце умирающего сына.

— П-папа! М-милый! — услышал я в тот же миг его хриплый голосок, задушенный, похожий на стариковское шамканье. — П-папа!

— За что ты его? Ты такой сильный! — завопил я иступленно, теребя толстую ногу черного буйвола.

Но эта нога встречала мои усилия как каменная, как отлитая из чугуна. Непреодолимая!

— А-а-а! — завизжал я в бессильной ярости, корчась и тыкаясь головою в холодеющее тело сына.

Напрягаясь всеми моими мышцами, я рвал черную лоснящуюся ногу, желая сдвинуть ее во что бы то ни стало, но буйвол, видимо, даже не ощущал моих бешеных усилий и принялся медленно и вяло пощипывать хрустящую траву, выдавливая из младенческого тельца розоватую пену, как последние проблески жизни.

— П-папа! — опять услышал я слабенький заплетающийся шепот сына.

Черный и жесткий клубок скрутился в моем горле.

Припадая лицом к вздрагивающей грудке сына и все еще теребя черную ногу, я завизжал пронзительно и медленно, весь корчась, путаясь в портупее моей жандармской сабли, и звеня шпорами.

И тотчас же проснулся.

В комнате было темно. И ужасно холодно. И странно тихо. Повертываясь набок, я почувствовал, что моя подушка влажная. Я попробовал рукой: не кровь ли? Но мое прикосновение не окрасило пальцев. Это были слезы.

Мои слезы.

Я сказал:

— Это мои слезы. А, может быть, Володечкины. Последние. Последние слезки!

Дрогнув в тупой скорби, я еще раз огляделся, желая убедиться — где я? что со мною?

Сквозь мутное окошко пустынный двор сельской усадьбы глядел безнадежным колодцем. Над полями стояли редкие звезды. И лукавая звезда мигала над моим изголовьем на эфесе моей сабли. Точно смеялась.

Я понуро приподнялся с постели и стал одеваться. Натянул рейтузы; обул туфли; накинул короткий беличий полубубчик.

И тихонько пошел к Прасковьюшке. Забывая, что на туфлях нет шпор, я ставил ноги чересчур осторожно, чтоб не потревожить тишины. Пусть ее спит, как замерзающая вода. Отворив дверь Прасковьюшкиной комнаты, я прошел затем в угол к окну и с ногами сел там на окованном жестью сундуке.

— Прасковьюшка, — позвал я жалобно и тихо.

После того, как жена, дав мне пощечину и бросив меня и детей, ушла от меня, Прасковьюшка помогла мне воспитать и старшего сына Семена, и Володечку. С тех пор она и стала для меня Прасковьюшкой. Она совсем простая женщина, но вся сотканная из доброты.

— Прасковьюшка! — опять позвал я громко. Она не просыпалась.

В комнате было тихо. Пахло сном. И слышался шорох дыхания.

У образов горела лампадка. И кто-то, весь желтый и высохший, простирает к небу руки в горячей молитве.

— Прасковья! — крикнул я, испугавшись. Я увидел ее глаза и еще молодую грудь.

— Ох, Порфирий Сергеевич, — залепетала она испуганно, увидев меня на сундуке. И ее глаза, серые и такие добрые-добрые, точно пытались войти в меня, чтобы расторгнуть там тьму и ужас.

— Ох, Порфирий Сергееч, Порфирий Сергееч, как вы себя убиваете! — она жалостливо закачала головой.

— Прасковьюшка, ты не помнишь: я уволен в отпуск или совсем в отставку?

— В отпуск.

— На четыре месяца?

— Да.

— Двадцать пять лет я в этой самой службе протащил! — воскликнул я, избегая смотреть в глаза Прасковьюшки.  
— Двадцать пять лет!

— Не расстраивайтесь...

— Двадцать пять лет! На жандармском поприще...

— Вот поправитесь, вернетесь опять...

— К службе? Я не о том. А вот о чем. Ты не помнишь, сколько лет прошло после смерти жены?

— В декабре исполнится пять лет.

— В декабре? Как время-то бежит! — протянул я жалобно, как бы в недуге.

Мои колени вдруг запрыгали от смертельного озноба и, понижая голос до шепота, я выговорил:

— А сколько дней прошло с тех пор, как Володечку... повесили? — с усилием произнес я.

— Тридцать два дня, — шепотом же проговорила Прасковьюшка.

Одеяло ниже сползло с ее груди. Она вскрикнула:

— Порфирий Сергееч!

— Ты не бойся, — успокоил я ее. — Ты видишь, нынче я совсем в себе. Но мне хочется знать. Почему, почему, когда Семен утонул в морском бою, его смерть, гибель его меньше терзала мое сердце? А Володечка день и ночь — стоит воз-

ле меня. День и ночь! Да не бойся ты, глупая, я ведь совсем, совсем в себе. Ты вот лучше постарайся со всем вниманием выслушать меня. И попробуй заглянуть в мою голову. Почему я каждую ночь вижу черного буйвола? Почему от меня сбежала жена? Почему у меня конфисковали Семена, которого я воспитал так, как хотел? Почему у меня конфисковали и Володечку, который сам воспитал себя и так, как хотел сам? Почему? Нет, ты ответь мне: почему? Почему? Прасковьюшка! — выкрикивал я неистово. — Прасковьюшка!

Мои прыгающие колени жестко толкали меня в бритый подбородок; и было мучительно холодно. Я пополз с сундука на пол, корчась и визжа:

— Нет, ты ответь мне, Прасковьюшка, почему? Почему? — вопил я, обливаясь слезами.

— Почему? — визжал я.

Будто ледяные удары метели сотрясали мой мозг, и кто-то, весь желтый и высохший, высоко над моей головой простирал к небу руки. Я видел только его глаза, светившиеся как булавочные головки.

Между холодных стен судорожно билось:

— Нет, ответьте вы все: Почему?

\* \* \*

Решено в окончательной форме. Я больше плакать не буду. Я решил не плакать. Я не хочу плакать.

— Не хочу!

Мои думы текут все в одном и том же направлении, как воды реки, и, конечно, я догадываюсь о символическом значении моих снов. Беспокойная мысль беседует со мной во время сна и чертит передо мною свои грозные теоремы. Как кажется, я недалек от их разгадки. Недаром же я без отдыха ломаю мою бедную голову. Все думаю и думаю, натруживая мозг.

Как я себя, однако, чувствую?

Сегодня утром я пил кофе, как и всегда, с такими хорошими деревенскими сливками, но от прекрасных сливок во рту оставался противный привкус прогорклого масла, смешанного с кумысом. И я все морщился, словно ел лимон. Но все-таки я упрямо пил кофе и, попивая, беседовал с Прасковьюшкой.

Ее прозрачные глаза глядели на меня с безмятежной кротостью, а уголки ее губ как-то обвисали в такой покорной и глубокой скорби.

О, деревенская баба, чего ты только не в состоянии простить и забыть!

Я вдруг вспомнил и сказал Прасковьюшке:

— А ты помнишь: Володечка маленьким любил пить кофе с подсушенными блинчиками?

Прасковьюшка чуть побледнела, и ее глаза стали еще добрее.

— А Семен с базарными кренделями, — ответила она.

Я вздохнул:

— Да-а-а!

Мне пришло в голову: хорошо бы пить сейчас кофе всем вместе. И нигде не служить бы. Никому не служить.

Я сказал вслух:

— И служить бы только своей семье. Только ей одной!

Светящаяся и благостная мысль метнулась во мне, как широкая молния, но я не успел понять ее значения, и в ту же минуту мне почудилось, что на выгоне за оврагом протяжно и сердито заревел черный буйвол. Меня точно бросило в мутный сон.

— Чего? — переспросила Прасковьюшка; и тотчас же добавила:

— Володечка еще чай с малиновым вареньем любил.

Из ее глаз тихо поползла слеза.

— П-па-ппа! — коснулся моего слуха задушенный, шамкающий лепет, принесшийся сверху.

Я выронил стакан на пол и, поспешно шагая по его осколкам, пошел вон из комнаты.

— И служить бы только своей семье! — ответил я на вопрос Прасковьюшки.

Та беспокойно окликнула меня.

А я прошел в сад и опустился на скамью. Увядавшие листья тихо шуршали вокруг, точно переговариваясь о тайнах смерти; синицы беспокойно перекликались в побуревшем кустарнике, чуя над собою ястреба; и тень, бросаема ближайшей березой, такой стройной и наивной с виду, походила на эшафот. Я поглядывал то на эту тень, то на осыпающиеся листья, занятый моими думами, и поджидал поверенного, который должен был заехать в усадьбу с часу на час. Мне надо было утверждаться в правах наследства после смерти сына, так как имение принадлежало покойной жене и после смерти ее и Семена стало всецело собственностью Володечки.

Настойчиво сбив себя на эти мысли, я погрузился было в хозяйственные соображения. Но тут зашумел ветер, тень от березы заколебалась, и под перекладиной эшафота судорожно закрутился кто-то, тонкий и длинный.

И жалко беспомощный.

Я вскрикнул каким-то похожим на лай голосом и, сильно извиваясь всем телом, побежал к балкону.

— Прасковья! Прасковья! — гневно кричал я, с трудом переставляя словно перебитые во всех суставах ноги.

На ступени балкона мне помогла взобраться Прасковьюшка. Она тотчас же уложила меня в постель и, прикрыв беличьим полушубком, поила с блюдечка горячим отваром из богородской травы. Мои внутренности прыгали в мучительном ознобе, а щеки передергивала гримаса. И хотелось спрятаться от самого себя.

Обжигая о блюдечко губы и стуча от холода зубами, я сказал:

— Володечка рос с характером женственным, нежным и мягким, как воск. Он был похож на покойную жену, и поэтому-то я так любил его. Семен был груб и мужиковат. Ты меня слушаешь? Да?

Прасковьюшка горестно всплеснула руками.

— Порфирий Сергеич, измучили вы и себя и меня. До ноготка измучили!

Сдерживаясь и почти холодно, я ответил:

— Что делать. Володечку-то ведь не воскресить!

Поверенный приехал в сумерки, и я целый час беседовал с ним о деле, советуясь, в каких архивах надо ископывать недостававшие бумаги. Тот справлялся у меня:

— Какой суммой можно приблизительно выразить все наследство, переходящее к вам после покойного сына?

Сидя в постели, я отвечал:

— Шестьюдесятью пятью тысячами или около этого. Пожалуй, несколько побольше.

Мои виски поламывало; мозг будто шевелился в голове, желая сбросить с себя тусклую пелену, как сбрасывает воскресающая вода холодные оковы льдов. Но я упирался против этих усилий, почему-то тревожась и пугаясь.

Гримаса все еще касалась моих щек, и тусклый свет свечи больно резал глаза, точно ее оранжевые лучи были отточены для боя.

Томясь тревогой и опасением, я все же продолжал мой разговор с поверенным, но, когда он протянул мне свою руку, уже прощаясь, будто огромный вал плеснул мне в самое лицо, обдавая мой мозг горячими и светящимися брызгами.

Я вскрикнул, чувствуя пламя на моих щеках, и с силой схватил протянутую мне руку.

— Я понял все! Все, — заговорил я в неописуемом волнении, весь обволакиваемый горячим туманом.

В глазах моего гостя метнулось смущение или боязнь.

— То есть, что поняли? — произнес он робко.

Его брови приподнялись выше, но, несмотря на его легкое сопротивление, я усадил его на свою постель.

— Я понял все, — между тем, повторял я подавленно. — Все! Черный буйвол — это государственность! Это вековая идея о насильственном соединении семей в одну каменную твердыню! Это та самая Вавилонская башня, которую человечество воздвигает из века в век, вознося ее все выше и выше. И вот что сделало это чудовище: рожденное семьей, оно раздавило семью. Ответьте мне, где моя семья? — воскликнул я запальчиво, горестно и судорожно. — Где Воло-

дечка? где Семен? где моя жена? Всех раздавила Вавилонская башня. Слышите? так или не так?

Я рванулся, зарыл лицо в подушки, и меня будто накрыло пламенное покрывало. Когда я открыл глаза, поверенного в моей комнате не было,

Никого не было в моей комнате. Никого, кроме трех портретов: жены, Семена, Володечки. И свеча не колебала пламени, как мертвая. И тени стояли в углах не шевелясь, как застывшие трупы.

Было, очевидно, поздно. Я оробел и решил идти спать в Прасковьюшкину комнату. Вопрос только — уснули? Но если уж не спать, так все же лучше там, чем здесь. Я тихо двинулся коридором, ощущая телом мертвящую тишину стен, тесных как ущелье. И заглянул в щель полузакрытой комнатки. Прасковьюшка стояла в углу на коленях, спиной ко мне, и вся ее комната шепотливо повторяла за ней:

— Упокой, Господи, души усопших Семена и Владимира!

Плечи Прасковьюшки беспрерывно вздрагивали; и дрожали тени на светящихся иконах.

— Упокой, Господи, душу усопших...

Неслышно я повернул к себе. Переставил свечу с ночного столика на письменный. И, выдвинув боковой ящик, вынул оттуда револьвер. Оглядел его. Заряжен всеми шестью пулями. Машинально произнес:

— Все шесть здесь.

И губы сами зашептали, трепеща:

— Ответьте мне: увижу ли я Володечку, Семена и жену, если ударю себя сейчас вот этим самым в висок? Ответьте мне!

Клубок теснился в горле и мои ноги ощущали холод северных льдов.

Я воскликнул:

— Ответьте мне! Отец Вседержитель! Ты, создавший миры! Ради Сына Твоего распятого ответь мне! Брось кроху милости Твоей, ответь! Удели каплю внимания, пойми, одну только каплю! Всемогуший, снизойди к червю и воздержи сердце от богохульства!

Мой шепот безнадежно бился между стен, как в могильном склепе. Но стены безмолвствовали, цепenea; и стили тени, как трупы, и звезды безгласно глядели на меня через окно. Холодно и безучастно глядели. И никто не хотел дать ответа. Только к моему уху приползал порой, как разбитый ребенок, жалобный лепет:

— Господи, упокой души усопших Семена и Владимира!

— Ответа нет, — подумал я. — Нет!

Сердце буйно прыгнуло в моей груди, как конь, порвавший узду. Внезапно я взвел курок и хотел выстрелить. Но только не в себя. Однако, я опомнился и скрутил сердце железными путами. Опустив курок, я сердито швырнул револьвер в ящик и сказал:

— Если я не достоин, — не отвечай! Я подчиняюсь игу Сына Твоего и повторяю за Ним, Ты слышишь: да будет воля Твоя! Слышишь? Я повторил!

Я потушил свечу, лег в постель и с головой укрылся одеялом.

И почти тотчас же в мою комнату вошел черный кузнец. Огромный, огромный, как исполинское дерево, он был весь черен от кузнечного угля; и черный кожаный передник прикрывал все его туловище, как неуязвимая броня. Тяжкий стопудовый молот блестел в его руке стальным обухом.

Шевеля черной, косматой, как непроходимые лесные дебри, бородой, он сказал:

— Пришел к тебе доложить...

Чувствуя на груди неподъемную тяжесть, я еле прошептал:

— Что такое?

— Ребятишки озоруют шибко. Изохальничались! За голенища меня кусают, когда урвут...

Цепenea от страха и предчувствий, я выговорил, еле выдавливая из себя слова:

— Может быть, ты порол их раньше без меры? Может был, обижал нипочем, зря? Знаю я, что обижал! Знаю! — уже выкрикнул я с сверлящей тоской.

Косматая борода шевельнулась, и шевельнулись огромные круглые белки на покрытом кузнечным углем лице.

Я услышал:

— Может, и порол. Може, и обижал! Но теперь я вот как с ними буду! Вот как!

— Как? — закричал я.

— Вот этак!

С этими словами тяжелая рука опустилась в широкую пасть сумы, висевшей на боку. И тотчас же вытащила оттуда что-то беспомощно и бессильно висевшее. Рука встряхнула это беспомощно висевшее, а другая занесла молот. Тяжко пронесся сухой стук железа, переплетаясь с хряском раздробленных костей. Рука сделала широкий размах. И то, что было под молотком, упало на мои колени, как насыщенная кровью губка.

Безудержным толчком меня склонило к брошенному, и в разбитых и размятых складках я узнал искаженные черты Володечкиного лица.

— А-а-а! — завизжал я, будто весь превращаясь в один крик, — а-а-а!

И неистово забил ногами.

Очнувшись, я увидел Прасковьюшку. Она стояла возле со свечкой в руках, и все ее лицо моргало в безысходной тоске.

— Порфирий Сергеич! Миленкий! Родименький!

— Уведи меня от него!

— Порфирий Сергеич! Бесцененький! кого?

— Черного кузнеца! Я понимаю: это перевоплощение черного буйвола. Я понимаю... уведи!.. Или иначе Вавилонская башня. Продиктованная гордыней. Беспольной и бесцельной гордыней. Спайка живых семей в бездушный монумент, — повторял я уже спокойно и даже холодно, уйдя от ужасов и претворяясь из ощущений в мысль. — Вавилонская башня. Опыт, запрещенный Богом под видом Вавилонской башни. Ты видишь, она раздавила семью насквозь...

— Пожалейте себя!

— Взгляни на меня: раздавила насквозь! Вышла из семьи и на семью же опустила тяжелый обух. Но придет вре-

мя, оно придет, и семья победит Вавилон и восстановит себя единую, как живое слово Бога. Светлую и непорочную, как Богоматерь!

Я замолчал. Прасковьюшка еще долго говорила мне что-то. Но я уже не мог слышать ее слов. Меня всего вытянули и распластали. И накрыли чем-то прозрачным, но совершенно непроницаемым для звука.

Распластанный в чьих-то тисках, я все же, однако, думал:

«Семья — это жизнь и тело, кровь и горячее сердце. А там — схема, чертеж, бумага, книжная утопия...»

А на другой день я увидел Володечку. Живого! Володечка пришел в усадьбу. Живой и неведимый Володечка; мой последний!

Как я не сошел с ума от счастья!

\* \* \*

Встреча моя с Володечкой произошла так.

Я сидел у амбаров на камне, привалясь к стене амбара и вытянув ноги. Погруженный в дрему и некоторое как бы омертвление, я, однако же, хорошо видел лиловые волокна облаков, красных с черными крапинами букашек, медлительно ползавших у моих ног, и золотистый листок, кружившийся над крышей кухни. Одеревенелая кожа многого не пропускала к моему телу, но все же я улавливал порою запах кухонного дыма и вкус прокисшего кумыса во рту. А тут, заслонив собой кружившийся в воздухе листок, передо мною встала Прасковьюшка.

— Порфирий Сергеич, — сказала она мне, — вас печник спрашивает.

— А не кузнец? — переспросил я с внезапно всколыхнувшимся беспокойством.

— Нет, печник. Говорит: не надо ли трубы оглядеть?

— Зачем?

— Топить скоро надо будет. Я муку вешала. А он подошел. «Топить, — грит, — надо начинать».

— Кого топить? Кого вешать? — крикнул я на нее брезгливо. — Все-то вы топите, да вешаете, а ну вас всех к псам!

— Так что же ему сказать-то?

— Кому?

— Да, печнику же, Порфирий Сергеич!

Но тут я увидел его самого. Он сам шел ко мне. Печник. А Прасковьюшка исчезла. И мне сразу же померещилось, что за его спиной кто-то робко прячется. Я подумал: «Может быть, это болтается за его спиной рабочая сумка?»

Печник сказал:

— Работенки нет ли у вас какой, Порфирий Сергеич? Сделайте милость! Жрать, прости Господи, извините за выражение, нечего!

— Разве так плохи дела? — спросил я дружелюбно, вдруг полюбив его.

— И-и-и, — протянул печник, — и-и-и, не приведи Господи!

Но, несмотря на жалостливые слова, лицо его светилось молодостью, бодростью и даже весельем. Пожалуй, даже лукавством. Из-за его спины опять кто-то в упор глянул на меня, обдав меня жаром, взбудоражив меня целым роем сверкающих мыслей. Во мне пронеслось:

— Что, если это не печник? А беглый, скитающийся, обреченный так же, как и Володечка?

Лиловые тучи и серые крыши построек широко мигнули, а пестрые букашки разбежались от моего порывистого движения.

— Володечка! — крикнул я скорбным зовом.

И он вынырнул из-за спины печника, отделился от него и заслонил его собой.

И заслонил передо мной весь мир, небо и землю!

— Володечка! Володечка! — звал я его мольбой умирающего, заламывая руки, весь проникнутый только встречей с ним.

Но тут же спохватился и поспешно побежал вслед за печником. Догнав его за конюшнями, я сказал:

— Постой на одну минутку. Только на одну минутку! Постой!

Он проворно полуобернулся, видимо, потрясенный звуками моего голоса. Я проникновенно воскликнул:

— Спасибо тебе за то, что ты привел его ко мне!

— Кого? — переспросил печник.

Я подметил на его лице выражение недоумения, но, очевидно, притворного, и понял, что он не желает предавать этот факт огласке.

— Верь мне, — шепнул я ему, — я никому ни слова! Ни слова никому!

Достав затем из кармана бумажник, я отсчитал двадцать пять рублей и сунул их в руку печника.

— Спасибо тебе, спасибо, — шепотливо восклицал я.

А он долго и внимательно разглядывал на своей ладони деньги, точно он видел их первый раз в жизни.

Когда я вернулся к Володечке, он сидел там на камне, где я оставил мой чапан. Кутаясь в этот чапан, он как-то хило сутулился, весь бескровный и прозрачный, как привидение, точно изживший в себе все без остатка. Бросаясь к нему, я все же не удержался от упрека;

— Володечка, ты точно совсем не рад встрече со мной?

Он улыбнулся хило и безжизненно.

— Нет, рад, папа! Очень, очень рад!

Он опять улыбнулся и добавил шелестом умирающего листа:

— Помнишь, маленьким я с такой охотой сидел на твоих коленях. И так любил даже запах твоих усов. Помнишь, бывало, просил: «Папа, дай понюхать твои усы». Ты бурчал: «Глупыш!» А я опять: «Они пахнут скошенным сеном». Я долго не выговаривал букву «ш». Да? Помнишь?

Я поцеловал его в губы, весь замирая от святого блаженства, но они были холодны, как у покойника. Мучительное предчувствие, что он снова покинет меня и уже безвозвратно, шевельнулось во мне. Сдерживая трепет груди, я ласково обнял его, бережно прижимая к плечу. И задал робкий вопрос: каким образом ему удалось спастись от тех ужасов, после того, как известие о его смерти было уже напе-

чатано во всех газетах?

Однотонным шелестом он ответил:

— Перепутали. Газеты перепутали. Нынче так много казнят...

Я вспомнил. В тот же день, как я прочел в газетах известие о смерти сына, в мой мозг вторглись вот эти же слова. Точка в точку:

— Перепутали. Газеты перепутали. Нынче так много казнят...

Сын сказал:

— Но если меня здесь найдут, мне не миновать смерти!

— А если мы убежим за границу?

— Только бы меня кто не увидел здесь!

— Даже и Прасковьюшка? Убежим, убежим! И никто не увидит!

— Только бы не увидел кто!

— Не увидит!.. Не дам увидеть!

— Не отдавай меня смерти!

— Не отдам! Ни за что не отдам!

Чтобы развеселить, чтобы ободрить и оживить сына, я шутливо ударил ладонью по его колену.

И мое ухо уловило деревянный стук. Точно я хлопнул рукою по чурбану.

На мгновение сознание задрожало во мне, как в смертельной судороге, но мозг воспламенился снова одним блаженством встречи.

В глубоком русле оврага, прячась, как вор, в кустарнике красного лозняка, я долго беседовал с сыном. Беседу открыл я. Весь загораюсь острым вдохновением, я воскликнул:

— Что может быть, Володечка, чище и возвышеннее хорошей семьи, где все любят друг друга, где все относятся друг к другу с уважением, где каждый уступчиво снисходит к ошибкам и слабостям другого? Что может быть выше такой семьи?

— Что ты хочешь этим сказать? — услышал я вопрос же.

— Я хочу сказать вот что. Володечка, разве ты не догадываешься? Я все эти дни вот ломал себе голову и все никак

не мог понять: для чего человечеству понадобилось живые семьи спаивать в мертвую и громоздкую Вавилонскую башню? Кто разрешил, кто смел разрешить пользоваться одухотворенными семьями, как бездушными кирпичами? Бог? Да быть этого не может! — воскликнул я пламенно.

— Кто? Быть может, выгода! Взаимная выгода! В начале, вероятно, были только семьи...

— И в конце тоже будут только семьи! Одни семьи!

— Не перебивай меня! Быть может, дурные, более людные семьи стали нападать на менее людные. Те принуждены были спаяться в род, в общину, чтобы суметь дать отпор. Нападающие спаялись в свою очередь. И в результате явился зачаток государства...

— А вместе с ним — остроги, каторжные работы, смертная казнь, война! О-о-о! — горестно воскликнул я.

— Так ты против государственности?

— Рассуждая по-твоему, непременно придешь к выводу: если хороших семей стало больше, чем дурных, — спайка не нужна!

— Но ты ловишь меня на слове. С ростом человечества и выгоды общежития могли видоизмениться.

— Например?

— Например, более обширное общежитие несомненно способствовало скорейшему росту культуры.

— Что ты называешь культурой? Усовершенствованную гильотину? К черту усовершенствованные гильотины! — неистово завопил я во все горло.

Я хотел схватить сына за руку, но мои пальцы поймали лишь красную, как кровь, ветку лозняка. Словно ядовитонасмешливый хохот толкнулся в мое сознание. Во мне все тяжело заплакало.

Я умолк, закрывая глаза.

И тогда я услышал над собой дыхание ветра, и шелест травы возле, и далекую трель какой-то птицы. И я понял, что я живу и дышу.

Когда я раскрыл глаза, в небесах уже слабо теплились первые робкие звезды, но Володечки возле не было.

Я догадался: возвращенный к жизни, он ушел в поле, чтобы увидеть те места, где протекли самые счастливые дни его безмятежного детства.

О, поля! Влейте в него могучим дыханием почвы больше мощи и силы!

О, звезды! Ярче засветите в глазах его святое пламя жизни!

О, солнце завтрашнего дня! Теплее обогрей его холодные губы!

Я решил: как только совершенно стемнеет, я незаметно проведу Володечку в кладовую, что позади дома. Пусть он проживет там незримо для всех несколько дней. А затем и он, и я — за границу.

Но Володечка долго не шел. Долго, долго!

И встретился я с ним как-то неестественно, неожиданно. Не припоминаю отчетливо, как именно.

И я тотчас же повел его туда, как решил уже заранее. Но мне не повезло. У самой кладовой я лицом к лицу столкнулся с Прасковьюшкой.

— А я вас ищу, все ищу, — сказала она мне с кроткой укоризной, — ведь вы и обедать сегодня не приходили. Небось, есть хочется?

Во мне все замерло: ужели она не видит его, Володечку? Или не рада ему?

Ведь она плечо в плечо столкнулась с ним.

Кое-как наскоро и поспешно сплавил ее. Скрыл Володечку, как надо и тогда вошел в дом. В доме все без малейших перемен. В кабинете три портрета. В столовой накрытый стол, и на нем только один прибор.

Только один! Сирота...

— Зачем у меня взяли всех!

Я не кричал. Клянусь честью, не кричал.

Это застонали мертвые бревна старого деревенского дома.

Я с жадностью набросился на котлеты с картофельным пюре, но, вспомнив, подошел к Прасковьюшке, взял ее за руку и повел к образам в угол, где что-то копошилось темное, бесформенное, но не страшное. С твердостью и точно-

стью выговаривая каждое слово, я сказал:

— Поклянись сейчас же перед образом, перед лицом святой, имя которой ты носишь, что ты никому не скажешь...

— Чего, Порфирий Сергеич?

На ее подбородке появилась ямочка. Эта ямочка всегда появляется у нее, когда она хочет заплакать. Или засмеяться.

— Что ты никому никогда, ни за что, слышишь ли, ни за что! не выдашь того, кого видела со мной! — повысил я голос.

— Где?

— У кладовой!

— Когда?

— Сейчас.

— Как сейчас?

— Ну да, сейчас! Полчаса назад!

— Когда вы шли из оврага?

— Ну да! Ну да!

— Порфирий Сергеич! Миленький! Я с вами, извините, никого не видела. Вы были одни...

— Прасковья, не лукавь!

Я раздраженно схватил ее за руку.

— Миленький, никого не видела!

Ямочка на подбородке стала глубже.

— Не лукавь! Клянись! — закричал я.

Она расплакалась.

— Ну, к чему к божбе пригоняют? К чему? если не видела!

Или она больна куриной слепотой? Кажется, есть такая болезнь?

— Ну, клянись, в чем хочешь!

— Позвольте уж совсем не клясться? Родненький!

— Ну, не клянись!

Я ласково потрепал ее по плечу:

— Эх, ты, добрейший курослеп!

\* \* \*

Утром все разъяснилось. Володи нет в усадьбе. Нет! Он снова исчез. Чувствую: безвозвратно!..

\* \* \*

Моя кожа, одевающая мышцы, стала восприимчивой, как подточенные пальцы шулера. Я прекрасно предчувствую погоду завтрашнего дня, и звон колокольчика под дугой невыносимо режет слух.

Кожа моя ощущает дуновение сырости. Наверное, вон за тем бугром мы увидим речку. Прасковьюшке, которая сидит в тарантасе напротив меня, я сказал:

— Вон за тем бугром будет река. И хорошая река!

Когда мое предсказание сбылось, Прасковьюшка поглядела на меня с благоговением, как на святого. Я ответил ее взору:

— Верь мне, так же сбудутся и мои пророчества о верховном главенстве семьи!

Покосившись затем на моего соседа по тарантасу, я спросил ее:

— А это кто?

— Доктор, — ответила она тихо.

Но не ошибается ли она? Может быть, это просто-напросто шпион?

С учтивостью тронув его за локоть, я проговорил:

— Вот вам и еще одно яркое доказательство высокой нравственности того восхваляемого вами общежития, которое известно под именем бумажного Вавилона: государственный шпион как почтенная должность!

Сосед не ответил мне ни словом.

А мы все едем и едем!

Конечно, мы едем отыскивать Володечку. Ну, конечно!

\* \* \*

Я заключен в каземат. Вокруг четыре стены. В окне клочок неба, такого ясного и безмятежного, и опять желтая скучная стена с пятнами сырости. Впрочем, и небо в последние часы начинает принимать зловещий желтый цвет, какой-то немигающий и холодно-мертвенный, повергающий в тоску и смятение.

Не вспыхнули ли на земном шаре кратеры всех вулканов?

А темные пятна сырости, — как я стал теперь замечать, — тоже складываются в совершенно реальную картину, какую, — это мне еще непонятно. Со временем, быть может, и пойму.

На душе тягостно и переменчиво, но некоторые ощущения сопровождают меня всюду, как конвойные. Хуже всего то, что это желтое чудовище, в каменном брюхе которого расположен наш каземат, населено не живыми людьми, а звуками. За запертой дверью по гулким коридорам вдруг пробежит порой стук, или прокатится хохот, или пролетят рыдания. Я еще не видел наружности этих обитателей нашего замка, но я хорошо представляю их себе.

Стук — тонок, высок и худ, как палка.

Хохот — кругл и весел, как обруч. А рыдания похожи на мифических птиц с черными крыльями и голубыми глазами испуганного ребенка. И когда они летят, эти странные птицы, одна за другой по коридору, мое сердце пронизывает игла, и мне хочется застрелиться. Но, во-первых, у меня отобрали все оружие, а во-вторых, Володечка-то ведь со мной.

Мой последний и единственный Володечка!

Мне разрешили пронести с ним, с Володей, его последние дни. После того, как его схватили в ту незабвенную ночь в кладовой нашего деревенского дома, его снова предали суду. И снова, конечно, осудят на смертную казнь. В этом не может быть ни малейшего сомнения. Генерал, с которым я имел объяснение по этому поводу тотчас же после моего приезда в город, решительно ответил мне:

— Полковник, вам надо приготовиться ко всему.

Я глядел на него в упор, уставясь в его глаза. Но он отвел их и стал смотреть на люстру. Я твердо спросил:

— Если вы считаете это за акт высшего правосудия, то почему вы не глядите в мои глаза, генерал? Вот видите, я гляжу в ваши прямо и твердо. — Он стал нервно потирать руки. Его левый ус задергало, и по лицу, у глаз, забегали складки; но все же, не осилив себя, он не решился взглянуть в мои глаза. И, уставясь на носки своих сапог, быстро и просительно забормотал, двигая всеми складками лица:

— Ради Бога, полковник, не волнуйтесь! Конечно, я понимаю вас, но ради Бога, ради Бога...

Я перебил его:

— Ого, — воскликнул я грозно и гордо, — конечно же, за мной все преимущества, все без исключения! Потому что я отец и отстаиваю жизнь и кровь. А вы отстаиваете мертвую линию чертежа! букву утопий!

Весь нервно морщась, тот воскликнул:

— Ради Бога...

Но я снова перебил его, вдруг выкрикнув что-то дикое, нелепое и бессмысленное, рассыпавшееся по комнате, как осколки битого стекла.

Не откланиваясь, я твердо пошел затем к выходу и натолкнулся на Прасковьюшку и на того шпиона с кургузой бородкой. Прасковьюшка подошла ко мне, бережно взяла меня за локоть и нежно шепнула:

— А главное, надо слушаться, Порфирий Сергеич, — слушаться! Слушаться! — повторяла она.

Ее слова посыпались на мою голову, как раскаленные опилки.

— Кого? — закричал я злобно, — кого? — и толкнул ее так, что она ударилась головой в стену.

Повернувшись затем к шпиону, я надменно приказал:

— Тотчас же принесите в мой каземат все мои ордена и мою саблю.

Подчеркивая затем каждое слово, я добавил:

— Слушаться вас я не стану. Наоборот, я заставлю вас слушать меня!

Тот покорно побежал исполнять мои приказания. Принес ордена и темляк. Но сабли не принес.

Я не протестовал и сделал веселые глаза, но мои внутренности рвала и грызла черная красноглазая кошка. Тоска, смертельная тоска!

Шпион любезно предложил мне содовой воды. Я беспрекословно и вызывающе выпил и, уже выпив, сказал:

— Вы, очевидно, принимаете меня за дурака. Но я прекрасно видел, что я пью не содовую воду. Если я выпил, то только для того, чтобы доказать вам, что я совсем не боюсь вас. Может быть, вы дали мне яду? Что же! Я не боюсь его. Я не боюсь ничего, потому что я ратую за святое дело и отстаиваю жизнь, а жизнь — святой алтарь Бога! Вот и сейчас я хорошо вижу, что вы умышленно заставляете Прасковьюшку забавлять меня моими орденами, чтоб незаметно подкрасться сбоку и всадить мне вот сюда ваш шприц. Вы хотите сделать мне впрыскивание, чтобы привить мне чувство преклонения перед вашим бездушным чертежом. Но это вам нынче не удастся. Я не позволю! Пойдите вон! Все! К черту! К чертовой матери!.. — Я неистово затопал ногами и все исчезли.

А Володечка спал, растянувшись на моей постели, когда я вошел в наш каземат. Он очень много спит эти дни, и, верно, Бог посылает ему этот сон, как избавление от лишних мучений.

— Спи, мой ненаглядный сынок! Спи крепко и отдохни в радостных сновиденьях. Я бодрствую за тебя. И если ты проснешься, я буду петь тебе, как маленькому: баю-бай! Спи! Спи!

Ночь без сна. В глазах мигают искры, а в ушах вечный шум осаждающих берега вод.

Может быть, ледяные горы полюсов двинули всю воду океанов на материк земли? На душе бесконечная тревога и жесткие спазмы тоски.

Сегодня в нашем каземате вывинтили газовые рожки. С постели сняли простыню. Подушку заменили кожаной. Меня оставили в одной рубашке, а сверху на меня надели халат из какой-то чрезвычайно плотной материи. Как ни

бейся, ее руками не разорвать. Я подчиняюсь пока почти всему.

А Володечка все спит и спит. Боже, благодарю Тебя! Ты один милостив к моему сыну!

И еще ночь, вся исчерченная гиероглифами и символами. Испещренная рисунками и изображениями таинственных инфузорий.

В каземате вывернули последний гвоздь.

Железную кровать заменили деревянной без спинок, обтянутой холстом, но холст не рвется.

В подкладке халата есть вата. Подкладка не рвется!

Звуки истреблены, но не все. Уничтожены сухие и длинные стуки и круглые обручи хохота. Птицы рыдания еще живы и непрерывно вьются надо мной с унылым клекотом.

Подкладка халата в одном месте, под левой мышкой, поддалась.

Только бы не вырвать всех зубов. Вата, без сомнения, есть в подкладке.

Лишь бы не подглядел шпион!

\* \* \*

День.

Желтое небо горит, не моргая и гневно. И темные пятна неведомого рисунка угрожающе шевелятся, принимая все новые формы.

Прекрасно вижу: эти пятна слагаются в зловещное изображение черного буйвола с эшафотом на спине. Вот он весь восстановлен передо мной, как мрачный кумир веков!

Желтое пламя небес становится все резче. Два черных ангела Божьего гнева с факелами в руках появились с двух противоположных краев пылающего в желтом огне небосвода. Ужели люди не замечают надвигающейся катастрофы?

Впрочем, когда я становлюсь на подоконник ногами, я вижу людей... С искаженными лицами и резкими телодвижениями они потерянно бегут по рыдающим улицам, вспо-

лошенные испугом. Я кричу им в узкое отверстие форточки:

— Опомнитесь! Опомнитесь! Господь Бог сейчас потрясет своды, распалившись гневом за поруганные права отцов, матерей и человека!

Я набираю в себя как можно больше воспламененного воздуха и кричу еще раз:

— Опомнитесь!

И черные птицы-рыдания выются надо мною с последними воплями.

Вот-вот истребят и их.

А Володечка все спит, распластанный и неподвижный.

— О! Сейчас сюда войдут они, чтобы, разбудив его, позвать к эшафоту.

— Спи! Спи!

— Они вошли! Они вошли!

— Раз, два, три... их шестеро!

— Впереди и посередине колеблется как будто какое-то кровавое пятно. Кто это? Палач? На нем красный колпак, красная рубаха и красные шаровары? Вокруг стана веревка и плеть? О-о!

— А у тех, что с боков, позолоченные пуговицы? И позади скорбно, подавленно и хило плетется жрец? Он!

— Ага, как он сконфужен!

— Стойте! — воплю я во весь голос.

Они подвигаются к Володечкиной постели, как стадо сильных чудовищ к бедному, маленькому воробью.

— Стойте! — грохочет мой голос.

Двое с золочеными пуговицами бросаются ко мне. Один нежно трогает мои руки и ласкает их, как преданный друг.

— Опомнитесь! — вьется вокруг меня.

— Стойте! — воплю я, прикрывая собой постель сына, весь — то выбрасываемый на ледяные вершины, то свергаемый в пламенные пропасти.

— Опомнитесь!

— Стойте! И удержите его!

— Кого?

— Палача!

Тот с золочеными пуговицами совсем припадает к моему уху. Его членораздельный и отрывистый крик больно бьет в мой мозг, пронизывает его, оставляя в нем зияющую и мучительную рану.

Я слышу:

— Порфирий Сергеич, успокойтесь! Порфирий Сергеич, здесь не палачи, а психиатры всего города, которые желают вам только помочь!

Черные гиероглифы с шипением падают с желтого потолка. Но язва в моем мозгу тотчас же зарастает.

Я вижу: они подходят к Володе и уводят его.

Сейчас его поведут двором, и я буду следить за его движениями по теням на той стене. Вижу: его возводят на эшафот. Тень порывисто всколыхнулась. Не споткнулся ли он на последней ступеньке?

В подкладке есть вата!

Судя по теням, — свершается!

Поспешно позвал вахмистра, старого вахмистра, Сидорчука, отдал ему ордена и темляк, завернутые в носовой платок, и заставил его выучить наизусть:

— Полковник корпуса жандармов Порфирий Сергеич Крутойров, возвращая все вышеизложенное, приказал доложить вашему превосходительству. Он стал семьянином.

И да здравствует семья!

Судя по теням, свершилось!

Желтое небо горит, не моргая и зловеще. Черные ангелы то и делю перечеркивают его своим быстрым полетом. Так ласточки реют перед грозой. Вот черные хлопья потухших искр стали медленно опадать с гневных небес, кружась в воздухе.

Это осколки осыпающихся сводов. Ангелы, стуча молотками, разрушают миры...

Володя, прости! Спешно иду за тобою!

\* \* \*

Его превосходительству генерал-майору В. А. Пропорьеву:

«Милостивый Государь, спешу сообщить, что ваш родственник, полковник Порфирий Сергеевич Крутойаров, отданный вами на излечение две недели тому назад в мою лечебницу, сегодня на рассвете покончил с собой. Верьте, что, подозревая такой поворот в его недуге, я предусмотрительно приказал убрать из занимаемой им комнаты все, что могло послужить средством для самоубийства. С его постели была убрана даже простыня. А в последний день с него сняли и рубашку, так как он попытался сделать из нее подозрительного вида жгут. На нем оставили только халат, сшитый из такой плотной материи, которая положительно не могла поддаться усилиям рук даже буйнопомешанного. Однако покойный все-таки перехитрил нас. Подпорыв в одном месте зубами подкладку халата, он удавил себя ватой, целыми кусками протолкав ее в гортань. Согласитесь сами: могли ли мы предполагать возможность именно такой катастрофы?

При этом посылаю вам записную книжку, с которой покойный не разлучался никогда ни на минуту. Как увидите, там есть много отрывочных и спешных записей, касающихся его болезни.

Еще раз прошу верить, что мною по отношению к больному было приложено все, что повелевает долг и совесть искреннего врача.

Доктор медицины **С. Пастырев**».

## ПРИМЕЧАНИЯ

Все включенные в книгу тексты публикуются по прижизненным изданиям с исправлением очевидных опечаток и некоторых устаревших оборотов. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам.

В оформлении обложки использована работа А. Дивиша.

-----

### **Болото**

Авт. сб. *Разные понятия: Двадцать рассказов* (СПб., 1901).

### **Бред озера**

Авт. сб. *Распря: Двадцать рассказов* (СПб., 1901).

### **Острота зрения**

Авт. сб. *Крик во тьме: (Рассказы)* (М., 1916).

### **Смерть**

Авт. сб. *Разные понятия: Двадцать рассказов* (СПб., 1901).

### **Кошмар**

Авт. сб. *Распря: Двадцать рассказов* (СПб., 1901).

## **Бунт ангелов**

Авт. сб. *Крик во тьме: (Рассказы)* (М., 1916).

С. 56. «И тогда... четырех ветров» — Мк. 13:27.

С. 56. «Слава в вышних... благоволение» — Лк. 2:14.

С. 57. *Благоутробный и милостивый... Един* — в православной литургии часть последования крещения (приготовительная молитва священника); у автора «истязуй» заменено на «испытуй».

## **Человек, которому 1900 лет**

Авт. сб. *Распря: Двадцать рассказов* (СПб., 1901).

С. 59. ...S.P.Q.R. — аббревиатура лат. фразы «Senatus Populusque Romanus» («Сенат и граждане Рима»), использовавшейся на штандартах римских легионов.

С. 63. *Сильно толкнули.. песнь* — Пс. 117/118:13-14.

## **Разбойник Измерай**

Авт. сб. *Дали туманные: Рассказы* (М., 1913).

## **Марк Бешеный**

Авт. сб. *Крик во тьме: (Рассказы)* (М., 1916).

## **Это гипноз?**

Авт. сб. *Крик во тьме: (Рассказы)* (М., 1916).

## **Могло быть**

Авт. сб. *Лунный свет: Рассказы* (М., [1915]).

С. 85. ...*Г. С. Петрову* — Г. С. Петров (1866-1925) — священник (лишен сана в 1908), публицист, проповедник, с 1920 г. жил в эмиграции.

## **Странная рукопись**

Авт. сб. *Лунный свет: Рассказы* (М., [1915]).

## **Черный ангел**

Авт. сб. *Распря: Двадцать рассказов* (СПб., 1901).

## **Кровь ангела**

Журн. *Огонек*, 1915, № 52, 27 дек. (9 янв. 1916).

## **Сон после боя**

Авт. сб. *Лунный свет: Рассказы* (М., [1915]).

## **Бред зеркал**

Журн. *Огонек*, 1913, № 51, 22 дек. (4 янв. 1914). Илл. В. Сварога.

С. 118. *Зеркало в зеркало...* — Эпиграф взят из стих. А. Фета *Зеркало в зеркало...* (1842).

С. 120. ...*клюкву на саблю* — имеется в виду наградной знак ордена св. Анны четвертой степени (красный крест на золотом поле в красном кругу), крепившийся на эфесе холодного оружия.

### **Убийство майора Арса**

Авт. сб. *Крик во тьме: (Рассказы)* (М., 1916).

### **Видения одной ночи**

Авт. сб. *Крик во тьме: (Рассказы)* (М., 1916).

### **Черный буйвол**

Авт. сб. *Крик во тьме: (Рассказы)* (М., 1916).

## Оглавление

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Болото                     | 6   |
| Бред озера                 | 15  |
| Острота зрения             | 23  |
| Смерть                     | 29  |
| Кошмар                     | 36  |
| Бунт ангелов               | 54  |
| Человек, которому 1900 лет | 59  |
| Разбойник Измерай          | 67  |
| Марк Бешеный               | 73  |
| Это гипноз?                | 79  |
| Могло быть                 | 85  |
| Странная рукопись          | 94  |
| Черный ангел               | 101 |
| Кровь ангела               | 107 |
| Сон после боя              | 113 |
| Бред зеркал                | 118 |
| Убийство майора Арса       | 127 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Видения одной ночи | 136 |
| Черный буйвол      | 155 |
| Примечания         | 182 |

# **POLARIS**



**ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА**

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

**SALAMANDRA P.V.V.**